В. Распутин

ПОВЕСТИ

В. Распутин

ПОВЕСТИ

В. Распутин

ПОВЕСТИ

•

Горький
Волго-Вятское книжное издательство
1985

84 р7
Р24

«Сельская библиотека Нечерноземья» издается по решению коллегии Госкомиздата РСФСР для тружеников села Нечерноземной зоны РСФСР.

Распутин Валентин.

Р24 Повести.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1985.— 399 с.— (Сельская библиотека Нечерноземья).

1 р. 90 к.

В книгу известного советского писателя В. Г. Распутина вошли повести «Живи и помни», «Последний срок», «Деньги для Марии» — произведения, которые отличают драматизм нравственных коллизий, глубина философского и психологического содержания.

Р $\frac{4702010200-039}{М140(03)-85}$ 48—84 **84 р7**

ЖИВИ И ПОМНИ

1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, кроший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка — легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно

подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то»,— упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороженная посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник,— вот она, пла́ха, намертво лежит

рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный — морозы только еще начинали сдавать,— но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть

к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

— Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов — не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб — и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи,— стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей:

там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости — многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего — от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей — слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» — и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

— Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправила в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем

лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду,— без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится — чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки.

Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покла-

дистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить — то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить — будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом — в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки.

Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина — она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибиваясь к старинному правилу: сошлись — надо жить.

Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война,

может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома — так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

— Какие имеете известия от сына? — строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

— Больше он о себе ничего не сообщал?

— Нет.— Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя.— А че такое с им? Где он?

— Вот это мы и хотим выяснить — где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать — сообщите нам. Понятно?

— Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

3

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

— Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

— Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

— Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается,— настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

— Искали меня?

— Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

— Отец, мать догадываются про меня?

— Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

— А ты, значит, догадалась?

Она не успела ответить.

— Хлеб ты приносила?

— Я.

Он помолчал.

— Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю,— с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет.— Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила.— Он опять больно сдавил ее плечо.— Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

— Понимаю.

— Ну и что?

— Не знаю.— Настена бессильно покачала головой.— Не знаю, Андрей, не спрашивай.

— Не спрашивай...— Дыхание у него опять поднялось и запрыгало.— Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому — убью. Убью — мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

— Господи! О чем ты говоришь?!

— Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери — к тебе. И никто: ни мать, ни отец — не должен обо мне знать... Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать — скажи сразу.

— Что ты меня пытаешь?! — простонала она.— Чужая я тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами,— после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать — хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча — в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом,— вся эта встреча выходила чересчур неправдашней, бессильной, пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение — Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

— Как вы тут хоть жили?

— Тебя ждали,— сказала она.

— Дождались. Дождали-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступаться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

— Может, помоешься?

— Надо помыться,— торопливо и даже как будто обрадованно согласился он.— Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

— Для тебя.

— Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

— Остыла, поди, совсем? — зачем-то спросила она.

— Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

— Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полузнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего — ни утешения и ни горечи — она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

— Надо было хоть белье тебе принести,— сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

— Черт с ним, с бельем,— отозвался он.— Я тебе счас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

— Живая.

— Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

— А что я ему скажу про ружье?

— Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока

подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье — мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

— Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

— Куда ты пойдешь? — спросила Настена.

Он хмыкнул:

— Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

— Не забуду.

— И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

— Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? — неожиданно спросил он с порога.

— Радая.

— Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

— Нет.

— Кто?

— Муж.

— Вот: муж,— с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно, недальний, пока не упрешься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года

назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним сталось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх — многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила его на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (а то до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали,

замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу — достаточно, войну не заворотишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим — не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы,— скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченый человек. Да неужели и впрямь конченый? Отказываясь, со взыгравшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

— Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не сделается — увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль

о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды еще до своего отбытия с фронта он не уберегся и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался — это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей — тут уж либо пан, либо пропал, а подержишься, побережешься, погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все,— не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку — коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец

войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть — уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступиться, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил — живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых — не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило — конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного,— лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все — плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. «Дней на десять отпустят,— определили Гуськову,— не меньше». Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они,— знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них — особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга,— разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать — и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной,— этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил — не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал — все легче. Она бы и проводила, а когда провожают — надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах,— есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек — почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали,— как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал,— и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет — туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война — сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще

больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

— А тебе куда? — спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

— В Иркутск.

— Вместе поедем,— обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня — не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше — дня тоже не хватит. И двух не хватит — зима. А возвращаться с полдороги — зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного — самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго — совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его — нет. «Шкура! — говорили.— Ну и шкура! Всех хотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно — вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани

он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза — рано утром и вечером — приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке — кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба. Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только — чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрей, торопливей — он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы

успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот — те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня — не та, за кого она себя выдает.

Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго — застрял совсем, думал о Настене — оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай — не расхлебать, кайся — не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна — домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал — не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрел до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не трогаиную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам,

как ходит весь ходуном,— то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой, сюда и в прежние годы мало кто заглядывал, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так — Покосным — и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, пооглядеся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья: одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще — на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая неспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним сталось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

— Ну и на сколь?

— На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

— Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

— Какие шутки...

— А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

— Нету.

— Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься

брать? Меня или ее,— он кивнул на печку, где лежала Семеновна,— может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

— Сказали, в последний раз. Для победы.

— Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

— Цё, цё она говорит?

— Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской — спущенную цифру подняли, не уронили,— с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

— Нестор Ильич,— даже повеличала, чтобы подольститься,— кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

— Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты — не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

— Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

— Ты только обратно ее потом отпусти.— И подмигнул Настене.— Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал

до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится — неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там.— И попросил дрогнувшим голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно — Михеич сказал:

— И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

— Седни-то обратно ждать, нет?

— Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

— Но-но. Не седни, дак завтра.— И не утерпел, вспомнил: — Не могла ты вчерась с самого утра куда-нибудь ухлестать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполовину мене язык-то свой высовывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего

нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не знают, на кого и вешаться.— Половину букв Семеновна не выговаривала.— Ить он за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай,— останавливал ее Михеич.— Лежишь — ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться — за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу,— пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука — все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси.

Карда — деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро

было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике — вперед, Настена! Не бойся, Настена,— вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами — она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой — ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался — все, как на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво — ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев — вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так сумеет,— вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой,

рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась — давно бы так — и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук — откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею — все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги,— и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыму, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать. А ведь это только начало — что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

— Ну, здравствуй, что ли,— сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку — его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее неспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился — видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь — и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

— Вот,— с виноватой улыбкой снова начала она,— приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

— У меня теперь все дни черные,— впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно.

Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

— Куда ты?

— Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

— Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами, вроде — «возьми» да «подай».

Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась — нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

— Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать.

Он в ответ бегло кивнул.

— Это что же получается? — обиделась Настена.— Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

— Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

— Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

— Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили — или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит — вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо,—верный, только ей одной известный признак того, что он отта́ял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок — говори, что хочешь, смейся, дури — все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и не охотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она

улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

— Почему чудной?

— Да какой-то...— Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех.— Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

— Ну и как нечистая сила?

— Ничего. Но свой мужик лучше.

— Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

— Зачем?

— Чтобы не походить на лешего.— Он сказал и тут же одумался.— Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

— Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю,— спохватилась Настена.— Приехала тут разговоры разговаривать.— В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать.— Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

— Никто, говоришь, не колошматил?

— Ну.

— Соскучилась, что ли?

— Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

— Надо хоть чаю поставить,— вспомнил он.

— Ставь — что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним — так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки — не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится — тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверно, в запыленной бутыли самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посудины — из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось — настолько все казалось неправдашним, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

— Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя,— неизвестно к чему сказала она.— Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола — она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком

вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Чего-чего?

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они — пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка,— тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

— Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

— Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

— Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

— Сейчас уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так — будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких

забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

— Ты не рассердишься, если я усну? — слабым и счастливым голосом спросила она.

— Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее,— она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели — это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще неспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи»,— зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом. Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезало. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку — Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту — это всегда помогало ему уснуть,— скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

— Так сладко поспала,— сказала Настена.— Уж и не помню, когда еще так доводилось — на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

— Возвернись я туда, я бы там и остался — это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так — не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря — теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.

— Но как, как ты насмелился? — вырвалось у Настены.— Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?

— Не знаю,— не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает.— Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

— Война кончится,— может, простят,— неуверенно сказала Настена.

— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изголялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

— Ну что ты, что ты,— начала Настена, но он перебил ее:

— Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все — хоть убей. А тут ты сегодня обогрела — в пору скулить от радости.— Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал.— Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу.— Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело.— И ты — слышишь, Настена? — и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испугалась Настена и тоже

приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

— Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

— Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? — спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

— Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все, как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет — тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

— Ты как-то страшно все время говоришь...

— Не бойся. Я не тебя пугаю — себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

— Что мне говорить...

— Как там мать — ходит?

— Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает — сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

— Отец все в конюховке?

— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

— Что такое?

— Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как проста: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял — ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

— Стариков пока не бросай,— сказал он и опять затмился,

задумался.— Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

— А как же, Андрей, дальше-то? — несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена.— Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война — что им потом думать? У них вся надежа на тебя.

— Надежа, надежа...— он вскочил и заходил по зимовейке.— Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был — и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан — тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя — все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежа — сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

— Еще неизвестно, что лучше: точно знать — твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать — чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит — не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет — все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать.— Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: — Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

— Как же я останусь?

— Еще-то приедешь?

— Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

— Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

Настена вспомнила:

— Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала.— Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в угол

два холщовых мешочка — с порохом и дробью.— Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

— Мне и половины за глаза достанет,— обрадованно засуетился над мешочками Андрей.— Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! — Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: — С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

— Ну тебя! — не слыша, разволновалась Настена.— Прямо сердце зашлось — до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

— Прибегай, я приучу.

— Да я-то бы каждый день прибегала.

— За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю. Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

— Ой, что за чудовина такая?

— Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого — не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

— Господи, да их в руки брать боязно.

— Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала — до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать,— все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте — так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое

место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Сколько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли — не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в полязыка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь — отступиться от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь,— без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он — здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены — как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть

осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной, сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное красноногодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было — неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубки, поля, покосы.

По берегу снова шел — не шел, а катил — Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские — что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий

заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем нестрашно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался — то ли от непогодья, то ли от людей. Скорей всего от людей — зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей,— не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье — свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно — может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие.

Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза — они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней нижнего; срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержись, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокла-

дывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами — вдруг укусишь? — но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще — неизвестно. Но находило, схватывало — не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда — как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалясь, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую

и острую, на одном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней — настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить — по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать»,— со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик — Максим Вологжин. Хотя, если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика, деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

— А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

— Хоть так повоюет,— со злостью сказала Надька.— Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

— Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? — вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением.— Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? — Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы.— Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов — и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

— Слыхала, Максим Вологжин пришел?

— Слыхала.

— Ты там не была?

— Нет.

— Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

— Пошел бы ты, штарый, шам,— застонала Семеновна.— Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

— А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

— Ой, да делайте, как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего — чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, — он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком — это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше — тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось — так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

— Сходи, дева, сходи,— отправлял он Настену.— Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли,— принялась она жаловаться Настене.— Ну, не прорва ли, не прорва ли — скажи ты мне! И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь

вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? — прикрикнула она опять на Лидку.— Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и она же еще ревет, а я виноватая. О-ё-ёй! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось — и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то, балбес, уж не маленький,— Надька ткнула рукой в сторону Родьки,— должен бы хоть немножко че-то соображать — нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подыхайте, раз так — не жалко.

— Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить,— буркнул от окна Родька.

— Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объедимся. Куда только кости от рыбы девать станем — никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

— Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

— А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядишься.

— Не пойдешь, что ли?

— Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан,— крикнула она на Родьку.— Неси дров да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи навострить. Дома весь вечер будешь сидеть — так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

— С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

— Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказанье божье. Ой, че с них будет, че с них будет? — кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком

и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться и самое лучшее — уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильней, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька ни разорялась перед ним. Надоест — сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька — там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку,— Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало — ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать,— до того сироты и пострадальцы, что у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уж смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь

нижний край деревни будто вымер — ни голоса и ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними,— пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных было людно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он — Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

— С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

— С возвращением.

На лавках вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла — сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь — сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

— Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень...— всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них — на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

— Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать?

Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

— Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

— Кто — Андрей потерялся?

— Он в госпитале лежал... тоже раненый. А после его обратно, значит, на фронт.— Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича.— С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

— Ну, найдется.

— Дак это... всерьез потерялся,— взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену.— Тут с расследованиями приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

— Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит,— уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло — теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке — о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно — видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала — пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал — добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

— А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

— Куда в сторону? Зачем?

— Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

— Мешать будет — Лиза отрубит.

— Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню,— ухмыляясь, заявил Нестор.

— Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли,— взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить.— Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор.— А, бабы? Я куражился?

Бабы молчали.

— Слушай ты ее,— вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой,— толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

— А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

— Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать,— важно наставляла Василиса Премудрая.— Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

— Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

— Я знаю,— наступала Надька,— это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

— Я за Гаврилу спокойная,— насмешливо ответила Василиса.

— Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

— Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

— Ой, глядите-ка, сравнила! — обрадованно зачастила Надька.— Я сорока — ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

— Нет, Надежда,— хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович.— Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то,

однако, не тебе шлет. Сколько — посылок пять, однако, в этом году было? — обернулся он к Василисе.— Или поболе?

Та замялась:

— Я не считала.

— Она их даже не открывала,— съязвила Надька.— Вместо табуреток держит.

— А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

— Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? — спросила она.

— Ни одной не получала.

— Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

— А мне и не надо никаких посылок,— счастливо засмеялась Лиза.— Я сегодня говорю: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

— Значит, загибла бы? — натянуто, с подманкой переспросила Надька.

— Загибла бы, загибла.

— А то руки на себя наложила?

— Ага.

— Чего ты приставляешься, Лиза? — вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся.— Это че же — значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине — всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки,— как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить — дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло — нету.

Лиза легко повинилась.

— Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

— Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить — берегись. Не пожалеем — это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

— Не виноватые.

— Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим — понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

— Ему не давали — вот этому.

— Он только пришел.

— Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

— Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

— Ты, что ли, Родион? — глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

— Ну, здорово, что ли.— Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку.— Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? — Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял.— Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

— Смотри, как вырос,— с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

— Они растут,— бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор.— Им и война нипочем.

— Скоро она кончится, война-то? — спросила вдруг Лиза.— Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам — долго еще ждать?

— Для тебя она кончилась,— негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

— Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видать, а с народом.

— Скоро, бабы, скоро,— ответил Максим.— Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додавят.

— А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

— Заворотят? — Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось.— Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтобы заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

— Четыре года — куда больше? — закивала Василиса Премудрая.— И мы тут поизносились.

Надька не пропустила:

— Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

— Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

— И нам досталось,— подхватила Лиза.— Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа — это ладно, это свое. А только хлебушек уберем — уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше — с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что — выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешься, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась — сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала — я ручьем заливаюсь, реву.— На глаза у Лизы навернулись слезы.— Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву.— Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула.— Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу.

— Лиза, Лиза! — останавливая ее, позвал Максим.

— Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду.— Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья.— А облигации? — на-

помнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться.— Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать — только бы рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

— Кто из нас, непонятно,— я или ты сегодня мужика дождалася? — спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

— Я, Надька, я. Больше не буду.

— У нас все шиворот-навыворот,— обиженно загудел осоловевший Нестор.— Что за народ! На войну мужиков провожали — пели, а встречаем — как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми — как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством — ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька — все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя — без этого человек не живет,— то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел,— против Надьки, и против Василисы

Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину — малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет — с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается — всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинаньем, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло — раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном — жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что,

минуту назад, все выдумала — и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей — выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой — предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом — во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти девять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку — на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы,

пожалуй, даже удобней, но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты — женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе — ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты — того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрей оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет — этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг — видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью — не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно — заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя — не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час — до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит — мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились: уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести — тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но

дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, в основном же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе — мощным и длинным гулом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна — март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено,— по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный,— неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него — там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет,— дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащилась в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза,— это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее — все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув,

позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит,— голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив,— то был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала — другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет, наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение — чем-то еще; она боялась думать, что это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

— Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери,— она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала — это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не

сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

— Мог бы встретить,— капризно и запальчиво выкрикивала она сквозь слезы.— Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

— Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

— Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина — единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

— Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

— Что прибежала-то? — снова вскидываясь, передразнила она.— К тебе прибежала — вот что! Он еще спрашивает! — Уже другим, остывшим голосом она ответила: — Ничего не стряслось.

— Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

— Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

— Как крот,— согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: — Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

— Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? — Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

— Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

— Только я на улицу больше ни за что не пойду.

— Сиди, я сам.

От приоткрыл дверь и, высунувшись, не сступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину — хорошего, килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.

— Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы,— удивилась Настена.

— Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

— Ну, еще бы не фартовая,— с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком — рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам, Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев. Хорошо сказано — «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще осталось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой.

Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась

к голосу Андрея — его ли? Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала,— пугала и запутывала себя почем зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завыть.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях — рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Уж не бесчувственная ли, не деревянная ли она? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло — еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

— Андрей, знаешь что?

— Что?

Но она передумала:

— Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно,— сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей.

— Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

— Ага, послабже.

Он подошел и присел к ней.

— Все еще не согрелась, что ли?

— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти пристала.

— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

— Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи — кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка...— Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

— Отец ни о чем таком не спрашивал?

— Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

— Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

— Придумать-то придумала...— Настена поморщилась.

— И что придумала?

— А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

— Тяжело тебе, Настена?

— Да нет.— Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой.— Вот за тебя сердце болит.— Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала.— А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

— Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

— Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится — наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать — что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь.— Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: — Забеременела, кажется, я, Андрей.

— Что?! — У него вышло не «что», а с охом: — Что-ох! — Он не усидел, вскочил.— Ты это правду... правду говоришь?

— Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду.— Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому относится.

— Что ж ты молчала? — неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром.— Нас-те-на! — негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку.— Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал — ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого...— Он не вскрикивал, он выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее — он говорил для себя и убеждал себя.— Это ж все — никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, погубил родову. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! — Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой: что ж он о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко — вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее — давно отринутых, оскорбленных, упрятанных и вот теперь освободившихся и оправдавшихся чувств: господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздобрилась и понесла? Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?»,— оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась — голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее, сильное и крепкое, полное не лишней, а своей собственной, здоровой

полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее — достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть.

Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то счастье — и какое счастье! — но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где же оно, жданное-пережданное, было раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое — деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась — может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше — чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать — что, в самом деле, лучше? Остаться в положении или никогда его не дождаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо — побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся

от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

— А я? — приподымаясь на нарах, спросила Настена.— Как же со мной-то быть? Я же середь людей живу — или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом, был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

— Не знаю,— пожал он плечами.— Плевать нам на все.

— Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

— Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

— Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется.

— Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись? — В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

— Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было — только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я — вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла — ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! — простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение.— Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет — значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твои мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет — и правильно, гляди,

на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом — боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься — ничего не будет. Все от нее зависит. Будет — плохо, и не будет — тоже плохо. Но отказываться от него она не хотела — нет, жутко, неможно казалось ей взять на себя такую тяжесть — отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

— Я не знаю, Андрей,— обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она.— Не знаю, что делать. Растерялася.

— От судьбы, Настена, никуда не уйдешь,— отозвался наконец он.— Хошь делай заделайся поперек ей, а она на своем поставит.— Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: — Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, навострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно.— Похоже? — спросил он и сам же себе ответил: — Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья — от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

— Да ведь его, может, еще и нет,— слабо возразила Настена.— Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

— На нет и суда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь...

— Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

— Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

— Я разве не хочу, Андрей?! Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

— Ты не отказалась от меня, когда увидала, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить — без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья... какая семья?.. так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря я жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упрятке, отсижусь до своего часа.

— Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано.

— Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди — как собаки: кто где не так пошевелился — они в шум. Полаяли и перестали — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо пославить. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя

как бы повел. Не людей — себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве?

— Я не жалуюсь.

— Что жаловаться — так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружившие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела. Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог... То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала — и достаточно. Надо потерпеть — на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится — кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и не легко. Она все еще сторожилась, боялась, как бы он ненароком, забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

— Давно уж, с третьегоднишнего лета, помню я про тебя один сон,— неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора.— Все там осталось на месте — и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали — с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок — там недалеко березки стояли — идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком — ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

— Это я и была,— удивленно согласилась Настена.— До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы как у мальчишки подстриженные?

— И волосы подстриженные.

— Я.

— Но как же? Раз я тебя такой не видывал — как ты мне в точном обличье явилась?

— Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

— Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало».— «Какие,— спрашиваю,— у тебя ребятишки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

— И ушла?

— Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, там с ними замучилась... Я ей посуровей отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне — нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и сквозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

— А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

— Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

— Мог бы пожалеть, не перечить,— вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

— Зачем?

— Ни за чем. Сколько ведь просила.— Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: — У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю...

Он приподнялся на локте и уставился на нее:

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! — Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон — такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный — стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: — А меня бабка одна надоумила. Какая бабка — хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему

и скажи о ребятишках. Если признает, согласится — так тому и быть, откажется — останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

— Приходила.

— И что ты мне сказал?

— Не знаю. Не помню.

— Что-то ведь должен был сказать?

— Наверно, должен.

— Ишь как! Самого главного-то и не узнали.— Настена не удержалась, укорила.— Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

— Не хватало еще верить во всякие сны,— неуверенно возразил он.

— Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе наведывалась. Оттого все так и сходится.— Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: — И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

— Нет, ни разу.

— Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой. Она все под собой топит.

— Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

— А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

— Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там — хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

— Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

— Заговоришь...— Он усмехнулся, закивал себе.— Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

— У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось.

Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

— А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула,— не то припугнул, не то пожалел Андрей.— Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

— Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.

11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась — нет, она нагрузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась — как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело — достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом... успеется, споется.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей — иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания — даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна — тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него была распахнуты. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет

за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну — ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем — веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать,— на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом она, пожалуй, не ошиблась. А счастье... счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед — там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое у́же прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь — не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть — все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека — кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает — кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя — почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего, в таком случае, ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и не достать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и

близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее как нарочно должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное,— да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас — не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка — об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье — о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось — ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше — больше.

Неужели впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше — больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось, — это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? Лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок — что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры — неживыми, тряпичными, движения — вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими — настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

— Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

— Как — чего бы хотела? — не поняла она.

— Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, окромя того, много чего от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоем иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых — больше! Ты из-за него теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что,— а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю — нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена? — подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

— Что надо? Ничего не надо.

— Вот видишь, ничего не надо,— с готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал.— Ишь как: мне надо, а тебе — нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной — больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для

всех пропащий — я на это и шел, да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь; найдешь хошь маломальское для меня место? — Несмотря на боль, которая била из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль.— Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься — тонкая она сильно веревочка, того и гляди лопнет.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испуганно перебила его Настена.— Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

— Каких, к примеру?

— Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

— Без меня, ясное дело, было бы лучше.

— А что? Конечно, лучше,— согласилась она.— А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать — ой, как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я — вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо.— Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала: — Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я — этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была — неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились — зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что, считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала, мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте — вот она я, вот как я отличилася!

— Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала...

— А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое — плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда — ты бы одну меня виноватой считал?

— А кого еще?

— Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся. Я не могла родить — ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

— Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

— Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел — значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем.— Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: — Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя.— Настена снова умолкла и снова добавила: — Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

— А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой — и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До этих пор они лежали неподвижно, с одинаково повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращаясь друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами — так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

— Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? — сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой.— Все ведь могло повернуться иначе,

другим боком. Или это только кажется, что могло,— черт его поймет! Но не говорили же — ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть — и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же: руку на тебя поднимал.

— Ты на меня руку не поднимал.

— Не поднимал?

— Нет.

— Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться — не пойму.

— А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж и говорила. И ты за меня не решай.

— Ну, еще бы не хорошо...

— Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь,— досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку.— Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? — Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ.— Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все.

Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь — там и ладно. Я и тебя-то почти не знала, что это — два или три раза играючи встретились и так же играючи, чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? Вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? Так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой; ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло — Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна — это про меня,— заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь

за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой — сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке.— Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: — Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю, а откуда, кто — не найду. А потом: господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приводил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась — будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел — ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный — тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары — куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно — как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками — как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить — как закричит дурноматом! Я как вскинусь! — Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула.— А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды — и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками — отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили — ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши — все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились — сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили — знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась — не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, ой, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей,— он был как каменный, не показывая себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь

другим Настена не хотела. Она и не смогла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, сколько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

— А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Андрея, когда пришлось выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово — что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было — Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха-хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с корявым оспяным лицом и в очках с разными — одно много темней другого,— похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежду, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпе-

лись друг к другу, а здесь все будет внове, и это вполне может сказаться.

Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети — подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее надуми что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

— Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную — тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки — р-раз! Ты заметил. «Нет,— говоришь,— давайте из самовара». Она заспорила: мол, это и так из самовара. «Нет, это накапало,— ты говоришь,— это уж не чай, а ополоски».— «Никакие не ополоски».— «Ополоски». Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашйстые, протяжные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает.

Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

— Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе — где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться — сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтоб она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. «Вот за четушкой,— говорит, — так и быть, сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась». — «Бегом-то, — ты ей говоришь, — не беги, успеешь». — «Я-то,— она говорит,— успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти».

Настена засмеялась — тепло, притаенно, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

— А потом мы с тобой весь день ходили, ходили — где только не побывали,— опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она.— Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была

радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было — приехала, и все тут. Нагрянула — куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! — вдруг воскликнула, почти выкрикнула она.— Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать — так даже Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: «Может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься?» Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет...

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то — умора. До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли — она говорит: «Давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я,— говорит,— у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся». Ты дал — отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно. «Магазин,— говорит,— закрыли, а без магазина к подружке идти незачем». Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл — спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступавшую к сердцу,— боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильней, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением го-

ворила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, протоpенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился — так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.

Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню — сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание, всегда являлось неожиданно и властно держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность,— множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взвывали один за другим моторы тягачей, две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатились вниз,— это было как наваждение. Откуда? Впереди свои! Откуда? На одной и другой батареях послышались крики, заметались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю,— падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподымаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи

успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причем они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону.

Откуда-то издалека-издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повторяющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой незакрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ствола — и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое — в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

— Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! — испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

— Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной.

Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться.

— Что ты подумал? — Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем.— Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда — так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это — без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише — значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то

один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя,— делала, как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей...

Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

— Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! — И, убрав руки, повернул лицо к Настене.— Не ходи больше ко мне, не ходи — слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

— Нет уж,— остановила она.— Ты уйдешь, а я? Что со мной будет — ты подумал? Куда я со своей виной? На люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война — посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду — сначала-то я́ пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если, правда, ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок — не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

— И правильно, правильно, не надо.— Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к окну.— Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем — все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настеной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невмоготу. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо увереннней, словно получил вдруг какие-то особые права на

свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть промедли, прогоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы — с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки, окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та — по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует, и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужицких рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разняться с ней. Ничего не поделаешь: деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не живать, ему не бывать даже в ней похоронену — значит, нечего понапрасну и томиться, надрывать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, натыкаясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то ведь когда-то надо было, а что именно — забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина — хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили»! А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособе-

ниться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина. А что? Отцу с матерью долго не продержаться, а Настена... Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна. Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно — в куть, сразу за окном курятник, напротив — русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили — дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно — крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот — эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот — и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели — обмершая, распростертая и теплая, собрав на животе рубашку, с чуть подпухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно силящимся что-то вспомнить, лицом и распущенными волосами,— представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом,— того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все,— она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное»,— повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена: окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть — кто: Настена или отец? Настене пора идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену — кто их там знает! А вдруг мать, взбередившись каким-то неспокой-

ным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли — или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда — и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба — тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан — вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась — тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось — прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо — потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты — все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно,— подумал Гуськов,— его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался — Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видеться людям, живой — живым! Нет, тут дело, наверно, в другом,— остановил он себя.— Витя исполнился, дошел до конца, все знают, что с ним сталось. А что с тобой — никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся — тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет — так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева — издали не разобрать. «Вот он — мой отец,— с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей.— Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой,— он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался — перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых отношений — ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет — справлен во всем, что требуется от родителя,— и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обратает и воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было — одергивал, нет — оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что — объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному,— потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам — крепче

выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо: когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил — лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра — совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыноцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работящим народом, особенно женщинами — откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: гражданская война начисто искоренила всю ее родню: отца, мать, трех братьев — всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, изначальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять,— воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней он любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром,— отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Несторова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял его, как хотел, что

считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животин эта — самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и мертвому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня — и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело. Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоявшимся запахом оживающей прели и вони; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задыхался, но задыхался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок — сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод — уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его — стригунок отскочил, оглянулся на конюшню — здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе — и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти состоянии, то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти — чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и закопченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда?

Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг нее, решая, наверно, надо ли ее прогуливать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору — туда, где стоял Андрей... Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидеться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть. А то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело — слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах. Шел он медленно и устало; усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле — больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, двигается лишь по инерции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверное, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только,

что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь, внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.

13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда — он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась — ей пригодится.

Да что там! Он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения,— обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? Смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не заметил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь — без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает, и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение — пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогрева-

лись, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорее уйти от деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо — потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей,— и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь и идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой — здесь надо держать ухо востро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измываться — она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные, губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно.

Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись — зачем бы тебе ее обижать?» — спросил он себя. Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего: назём туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь неспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного — пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это,— ему наплевать. Он имеет право пройтись тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было сеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга — там, в прежние годы. Он здесь не чужой — нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо,— поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обутки у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал. Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье — можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не захочет — надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет,— больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносило отовсюду — с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей по-

среди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта пытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было бы намного легче,— да не получится: тот, прежний человек все еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго — никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем — никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок,— казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места,— уж не они ли приговорили? Гуськов покосился вокруг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человечьим языком признается — они. Гуськов бодрился, но что-то в нем подготовлялось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка...— подхватилась неожиданная мысль.— Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если б не она, проклятая,— оправдывался он,— так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет — полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? Столько народу в мире... Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной,— чем? — Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился.— Так бы и жил не хуже других,— хватался он за

подвернувшуюся мысль,— работал бы, я ж хороший был работник — все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности... вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом и обратно в деревню...— Настолько близкой и вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справить то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним сталось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться.— Это все война, все она,— снова принялся он оправдываться и заклинать.— Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась — на всех сразу! — страшная, страшная кара? И меня, меня туда же, в это пекло, и не на месяц, не на два — на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог, я дюжил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое наказанье? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной... Вот вышел сюда, а она уж готовенькая, уж раскисла — слабая... Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил,— повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: — Такая война — а я утекнул! Это ж уметь надо — черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся — вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, взыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором сидел, выкатил на дорогу — кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разогрелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять опускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи, два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями — в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, которые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада. Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов поискал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать — он не мог разобрать. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного тридцать третьего года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединенные в целое, беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова, что, если он перебежит к немцам, его обменяют на генерала и не расстреляют, нет — много чести! — а будут казнить три дня и три ночи — ох как будут казнить! То

на ничейной полосе там же, на Смоленщине, вдруг появляется атамановская мельница, на которую он определен мельником, и в него, не жалея огня, бьют с обеих сторон — лишь из-за него теперь и продолжается война, и победит в ней тот, кто его подшибет. Затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовет его в свой кабинет пить спирт и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять он на фронте, уже при гаубице; он теряет ящичек с прицелом, и его отдают под трибунал. Длинное-длинное узкое поле, залитое ярким светом прожекторов; он идет по этому полю, задыхаясь от жары, а свет все накаляется и накаляется, синеет и пышет огнем.

Он очнулся, но долго еще сидел без движения, угнетенный и уязвленный этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь: даже сны переменились, даже они, возникающие в нем же, выступают против него. Что спрашивать с остального?

Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее было неблизко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке. Снег в холодном еловом лесу почти и не таял, солнце здесь и на открытых местах было слабей, чем на еланях, на полянах лежали четкие, как вытиснутые, раскрытые тени деревьев. Валенки Гуськова ступали тут уверенней, и он опять приободрился. Он чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, — когда-то он любил бывать на мельнице. А кто не любил? Это была праздничная, веселая, итожная работа — молоть хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставленные мешки теплая, парная мука.

Гуськова засветили эти воспоминания, он улыбался, душа его, казалось, отогрелась и ублажилась. Но ненадолго: подходя к мельнице, он насторожился, напрягся, выгнул тело вперед и, приостанавливаясь и призывая себя к вниманию, тихонько запрукал губами. Человечьим духом вроде не пахло: и верхняя и нижняя двери были замкнуты, на лестнице, по которой поднимали зерно, лежал снег. Гуськов подождал еще, удерживая себя не торопиться, и от ближних вербных кустов пошагал к двери. Замок

на ней, как и раньше, висел для блезиру: Гуськов дернул его — он тут же раскрылся. И правильно сделал — иначе Андрей выдернул бы пробой или выставил раму в окне, но не отступил.

Внутри было холодно и пыльно, на полу оставались от валенок белые следы. Сначала Гуськов заглянул в каморку мельника и нашел там на полке большую эмалированную кружку, две головки чесноку и полпачки соли, на стене висела ножовка. Он затолкал все это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошел проводить ревизию всей мельнице. Дважды поднимался он наверх, обшнырил все углы, все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал, кроме еще одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал: пригодятся.

Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. Долго ли — вон валяется береста, спички есть, постройка давняя, сухая, займется быстро. Он помнил себя, понимал, что нельзя поджигать и что в конце концов он не посмеет поджечь, но дьявольский искус был настолько силен, так хотелось оставить по себе жаркую память, что он, не надеясь больше на свою волю, не доверяя ей, подхватился и заторопился прочь от мельницы, подальше от греха. Лишь возле запруды он на минутку задержался, остановленный сиянием чистого, зеленого стекольного льда, под которым, завораживая и потягивая за собой взгляд, шевелилась вода. Гуськов представил, как на лед, грязня его, стали бы отлетать и с шипением дымить головешки,— что-то в нем с новой силой запросило этого зрелища, и он ушел — опять в гору, в поля.

Весь день он бродил по еланям, то выходя на открытые места, то прячась в лесу; порой ему до страсти, до злого нетерпения хотелось увидеть людей и чтобы его увидели тоже, увидели и встревожились, что он за человек, затем на него без всякой причины накатывали приступы страха, и он подолгу стоял не двигаясь, не смея пошевелиться. Журчали ручьи, на солнцепеке дымилась земля, вязкие, хмельные запахи кружили голову. От них или от чего-то еще Гуськов угорел: у него полностью выпал большой, в два-три часа, кусок дня после обеда; припоминая потом, где он тогда был и что делал, он ничего не мог ответить, из этого беспамятства доносилось только пение петухов из деревни, надсажающее его душу, да звенела вода. Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше.

Вечером он не рассчитал время и спустился к деревне в поздних сумерках. Но предметы, постройки еще выделялись; он отыскал глазами свою баню и не увидел над ней дыма. Гуськов похолодел: весь день он почему-то не сомневался, что увидит его, и даже с уверенностью прикидывал — вот сейчас Настена таскает воду,

сейчас она растопила каменку... Неужели сорвалось? Кажется, впервые за свою бродячую жизнь Гуськов взмолился богу: «Господи, не оставь. Сделай, господи, так, чтоб баня уже протопилась,— ты можешь, еще не поздно. Сделай только это одно и поступай со мной как знаешь, я со всем соглашусь». Его неожиданно принялась бить крупная, прохватывающая длинными очередями, нервная дрожь и, потрепав, словно внушив что-то, так же неожиданно оставила; после нее тело пронялось заныващей слабостью. Гуськов присел на подвернувшийся пенек и стал дожидаться ночи.

Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей, звуки, изредка слышались голоса, но все то доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как и ранним утром, выстыл опять от чувств, его терзало только одно, самое важное: что с Настеной? Но огни в окнах волновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, горящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми ногами — пахнуло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа — заныла, поныла и понимающе свернулась. Гуськов отвернулся от огней и закрыл глаза — в наступающей тьме он походил на корягу.

Потом, когда деревня затихла, он в одно приготовленное, заранее намеченное мгновение решительно поднялся, короткими кивками головы, не тревожа рук, перекрестил себя и зашагал вниз к Ангаре. По льду он дошел до бани, вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер — не столько от осторожности, сколько от важности следующей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что внутри тянет теплом.

Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча, засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив все кругом,— не отпраздновать тем самым вволюшку своей радости.

О Настене он здесь близко как-то и не вспомнил, ему было достаточно того, что баня горячая.

14

Все — началось. И началось, как Настена ни сторожилась, как ни готовилась к этому, неожиданно.

В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два,

поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегами складывала наколотое в поленницу. Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда.

Ружья Михеич с собой не брал, оно тут, в версте от деревни, было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича: он взялся наготавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

— Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева «тулка»? Все перерыл — как скрозь землю провалилась.

Настена, ожидавшая свекра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса, давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы — в другой раз: уж больно неподходящее было время.

— Нигде не видала? — переспросил Михеич, готовый отступиться от нее.

— Видала,— с дурацкой, растерянной улыбкой призналась Настена и, чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе.— Я ее продала, тятя.— В особенные моменты она называла его, как и Андрей, тятей.

— Продала? Когда продала, кому?

— Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду... Ты тогда обозлился на меня за облигации — и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула, а где их столько взять? А он сам: посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала... уговорил.

— Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ниче не пойму.

— Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю, помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает, она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились — и ладно.

— Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

— С собой. Думаю, ну как обратно в темноте придется ехать... боязно.

— И продала?

— Продала.

Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом

и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, к Настене, глаза непонимающе мигали.

— Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь? — все еще не хотел он поверить.

— Правду. Сразу надо было... все откладывала, боялась.

— А ты как думаешь: Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

— Придет — наживем, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя.

— Наживем...— повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь скорей всего не с Настеной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного, окончательного решения эту мысль, и вспомнил, спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать: — Ну и... за сколь продала?

Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

— Счас,— пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступке.— Вот,— протянула ему Настена часы.

Свекор отшатнулся от них и поднялся на ноги.

— Это... че тако? — опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось.

— Часы. Это часы,— заторопилась Настена объяснять.— Я его, ружье-то, не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особенные, иностранные, их шибко ценят. Ты погляди, они на трех стрелках.— Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу.— Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты... и всегда правильно показывают, не врут.— Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно.— А в темноте они светятся, вот эти точечки прямо белым огнем горят, все видно,— со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла.

— Ружье — на часы, на игрушку,— приходя в себя, проговорил свекор.— Ну и ну.

— Часы легче продать... Ружья здесь у каждого, а часы... да еще такие часы... Их с руками оторвут, только покажи.

— Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко-он ходит.

«В темноте светятся»,— озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов, и сплюнул.— А на что он мне, этот свет? Вшей при ем бить?

— Иннокентий Иванович купит,— не сдавалась Настена.— Я знаю, они поглянутся ему, он любит такое — только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи рублей выпрашивал,— ввернула она для убедительности.— Да еще как выпрашивал...

— За сколь, за сколь?

— За две тыщи.

— Ну и че не отдала, если такой дурак находился?

— Они, может, побольше стоят.

— Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тыщи рублев... Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. Ладно,— обрезал он,— пойдем. И так сколь потеряли из-за твоих часов. Порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их с глаз моих, убери, христа ради.

Они пошли. Но Настена предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему,— слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а, взбередившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня, она надеялась, миновало, теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна пропажа — худо ли, хорошо ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче — до того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке — в приплоде. Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось.

На месте они сразу, не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое — выбирали полегче, но пила почему-то шла вязко и забирала много силы; Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек — он блеснул и погас, но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла еще и еще. Она сорвала один и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду, но мысль эта, дразня, так и не далась Настене, ускользнула от нее. Подошел, накашлявшись, Михеич, и Настена показала ему:

— Гляди, новая травка уж полезла. Впервой нынче вижу.

Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что

заговорила: выходило, что она подлизывалась к свекру, пыталась травкой замять свою вину.

День стоял светлый, но неяркий и тихий — какой-то сонный. И это при солнце на небе; солнце, казалось, истончилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки.

Сосна под пилой наконец хрустнула, верхушка ее дернулась, замерла еще в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла — пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настеной отскочили в сторону. Комель повернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул — высоко в воздух подскочила оборванная ветка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошел обрубать сучья, Настена, как всегда, стаскивала их в одну кучу.

Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил:

— Ты, Настена, правда не знаешь, где Андрей?

Вот этого она не ожидала — чего угодно, но только не этого; тут было отчего испугаться.

— Андрей? — вскинулась она, и страх удачно подыграл ее удивлению.— А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

— Не знаешь, значит?

— Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем.

Он смотрел на нее пристально и мучительно — не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, по тому, как она держится, понять, что ей известно.

— Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это... скажи, Настена. Мне одному скажи. Не скрой.

— А что говорить-то? — опомнившись, она стала отвечать уверенней.— Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты.

— Да я спросил только... А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

— Какая не такая? — с осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена.

— Вроде как сама не в себе. Может, показалось... Но я ни в жисть не подумал бы, что ты без спросу ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется — окромя ружья видать. Как вроде че-то ты все время

боишься... торопишься все время... Может, ты уйти от нас собираешься?

— Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните,— искренне, со своей затаенной искренностью отозвалась она.— Скоро кончится, поди, война — что-то будет.

— Где от он?

— Я не знаю, где он, я сказала.

— Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.

Они взялись опять за пилу; Настена водила ее вперед и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свекра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж одно то, что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулило ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней,— невольно станет следить, если даже сейчас поверил, потому что от подозрения так просто не отделаешься: оно, появившись, существует самостоятельно, и это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать, что осторожничать, если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья,— эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится, ее воображения на это не хватало; то, что должно было свалиться, не с чем было сравнить, его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая, пока не обнаружится всенародно, что с ней, пока не ткнут в нее пальцем и не спросят,— и тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет,— только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил, она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких, и боясь в то же время, что тут, кроме сил и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверное, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были? Не слишком ли большой принимает он грех? Больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать.

В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед — один ответ. Смирись он с этим — пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настена пожалела Михеича. Она наперед увидела, как он испуганно замер, с какой тяжелой и угрю-

мой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать,— нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению, убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мнится. Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея — этого она позволить не имела права: любой намек, любая неосторожность были ей запрещены.

Они распилили сосну и собрались уходить: времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз; в одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц; узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настена всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как до нее достают колючие холодящие лучи месяца.

Перед уходом Михеич присел на чурку, и Настена насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась; Настена не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся; Настена вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.

Убираясь по хозяйству, домашничая, Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной оторопью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорей всего только насторожил,— что человек, о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который, как нарочно, делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные, разные, чужие друг другу куски,— что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно, страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго, и игриво послушный: при желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не приспело, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала, с ней Настена справиться не могла. Она видела, что жизнь ее сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть; тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами — тут невозможно оставаться спокойной. Настена упрекала в этом себя: значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы, не сумела убедить Михеича, что она все та же открытая, послушная душа...

Не находя себе места, Настена ждала, когда свекор вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет, ей необходимо было находиться рядом с ним — даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путаных опасений. Она надеялась, что, будь у Михеича что на уме, он не вытерпит и скажет, а хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек не скрытный, не хитрый, любит договаривать до конца.

Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уж в потемках, поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке.

У Надьки ужинали, вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой поделенная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, четыре штучки, перед Петькой пять, перед Родькой и матерью — по шесть. И по ломтю хлеба. Настену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и подсела к Лидке. На Лидку было больно смотреть: она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Лидкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли: когда это кончится? Когда выправится нормальная, зависящая от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то геенны огненной, жизнь? Когда хоть ребятишки станут питаться досыта? Они-то в чем виноваты?

Все с той же бешеной скоростью Лидка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами.

Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю.

— Пей чай и ложись,— подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.

Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коврига, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно, с подначкой, сказала:

— В дети не хочешь взять?

— Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу — ты же не знаешь.

Ответила так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда

Надька заметит неладное, она припомнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть.

— Че же ты раньше не рожала? — резонно спросила Надька.

— Не хотела.

— Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет,— так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы.

Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре — ее конца, никого к себе не подпускает — ни Витю, ни кого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула.

— Куда мне,— согласилась она.— Это ж какое терпенье надо! Мне волю дай, я бы каждый год их таскала. И еще на второго оставалось бы по три месяца — я удобристая, с первого раза завожусь. У меня всегда все наготове. Не то что у некоторых,— не утерпев, кольнула она Настену.— Мне если б не беречься, я бы тут цельный ребятник развела — успевай только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя: захочу — выберу, не захочу — оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то сбила, я бы ему, капиталисту бабьему, показала, где раки зимуют. Что это, правда, за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос утерла.— Надька издевалась над собой, наговаривала на себя, но, издеваясь, и гордилась: она свой бабий долг исполнила, этого у нее не отнимешь. Раньше Настену, наверно, задело бы Надькино хвастовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать.

Лидка, приласкавшись к Настене, уснула; Настене и спящую ее держать доставляло удовольствие, ей чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда.

Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки, но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась: уперев костыли в подмышки, она почему-то, как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги,— заступала, хваталась руками за что попало и принималась охать и причитать.

— Ты попеременке, попеременке их двигай,— наставлял Михеич.— Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж торопись.

— Гошподи! — стонала Семеновна. — Зашто мне такое муценье на штарошти лет? Пожалей хоть ты меня, прешвятая богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, што до могилки я и без его коштылей доеду. Ты хошь в гроб-то их ко мне не клади, — набрасывалась она на Михеича, — не позорь меня там. Ить надо же: дошпел, ш пецки меня шнял: иди. Куды иди? Куды иди?

— Ну, посиди, посиди,— усаживал он ее на топчан.— Отдохни, раз пристала, че ж. Ноги-то болят?

— Как же не болят? Как же не болят? Огнем горячим полыхают. Гошподи... не болят, говорит.

Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем — не спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги.

— Ну, че, старая, дальше поедем? — окликнул ее Михеич.

— Доконать меня хоцешь? — со слезливым вызовом в голосе спросила она.

— Ага.

— Давай, доканывай. Не жалей.

Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься: сначала снялась с топчана, привстав на согнутые, как сидела, ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подсунул ей опять под мышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны. Но Семеновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для нее ходьбе: опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперед и переваливалась на него. В ее голосе, как у ребенка, впервые овладевшего тем же ремеслом, послышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала:

— Ну-к отойдите, не держите. Шама.

Она прошла по горнице из угла в угол, долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно

приохивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семеновна устало согласилась:

— Нице, годятша ноги рашхаживать. Их когда рашходишь-то, на их приштупать можно.

— Ну от,— весело сказал Михеич.— А то на двоих одна моя нога — далеко ли мы так с тобой ускачем? То ли дело теперь: три здоровых, две лечить, поди-ка, можно, да одна в запасе.

— Ох, увидал бы меня Андрюшка, как я коштыляю, уж он бы пошмеялша... Ох и правда, кому шмех, кому грех.

— Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя,— с какой-то особой — теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настене не случайной, сказал Михеич.— Хошь и на костылях, а шевелиться надо.

Настена почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для свекра он напрасно не прошел, свекор что-то понял, что-то решил,— что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему? Почему?

— А лето придет, ноги твои, глядишь, ишо отогреются, побегут,— подбадривал он старуху.

А она отзывалась:

— Хорошо бы, ох, хорошо бы напошледок.

— Помнишь, как ты раньше поперед всех взбегала на елань?

— Помню... как не помню... Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня.

Настена вздрогнула: давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свекра зовут Федором; имя это случайным отзвуком донеслось из далекой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков — они, занятые воспоминаниями, молчали.

И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно-несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать — горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась: плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

— Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?

— За ружье? — Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит.— Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье...

И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.

15

В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине — коврига хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки,— старые ичиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость постановил себе курить до трех, а поздней и до двух закруток в день — утром и вечером.

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, хотя и нетрудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом, лесу — самая унылая и неприглядная пора, как известно,— промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и затхлостью, каких осенью не бывает.

Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние — идти, двигаться куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадается по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял, и стрелять было некого: зверь в апреле — мае бережется как никогда старательно, а глухариных токов поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей налетало мало.

Чем ближе подступало лето, чем теплей становилось, тем больше проявлялась в Гуськове страсть искать снег — те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих, темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокря-

щимися ошметками снега и с неподвижной, тяжелой думью прощался с ним, веря, что нового снега ему не видывать. Он готовил себя к тому, что идет по последнему кругу и круг этот скоро замкнется: он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним: они здесь были в одно время, и снег, лед — это также последнее, что ему суждено проводить, все остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования. Этим поворотом станет день, когда вскроется Ангара и когда он переберется в верхнее зимовье. Он уже подготовил его, даже перенес туда кой-какие шмутки, без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде — именно тогда, в праздник реки и всего, что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду — то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! Другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди, и вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето,— а что дальше? Он достанет Настенин подкладыш — четушку самогонки и, глядя на освободившуюся бешеную Ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду, отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу, и доспеет одно-единственное немудреное, светленькое, как окошко, чувство: я есть, что бы там завтра ни случилось, а сегодня я есть. Он наперед знал, что так оно и будет, и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет.

Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его, он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь. И чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливей ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну — полную, нескончаемую, без восходов и закатов, неподвижную на низком и плоском, как потолок, небе и почему-то дымящуюся.

Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную тень и подолгу смотрел на лед, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лед изнурялся: его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным, чиркающим свистом пробегали

трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзи на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальные одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт: ему чудилось, что он слышит, как поет на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю Ангары, пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал, чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон.

Остальной сон он научился добирать днем, устроившись где-нибудь в лесу под солнце. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался, а потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался: куда теперь? Этот вопрос стоял перед ним постоянно, чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести.

Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячьей, а просто бессмысленной блажной забавы, будто идет за кем-то по пятам, или, наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью. В такие минуты ему словно бы застило память, он отказывался верить, что был на войне и жил среди людей, а казалось, что всегда так вот один и шатался, не имея ни дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована.

Он постоянно хотел есть, и все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным; его домогал даже воздух, сосущий и острый — слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы.

Накануне мая он собрался в поход вверх по Ангаре, где можно было стрелять. Снарядился как следует: кроме ружья, взял с собой топор и на всякий случай мешок — при ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днем эта вылазка не обойдется, ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей, а до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее, но пойти подмывало, приспичил какой-то неуемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся, их собой. А может, и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри себя не-

спокойную, требовательную пустоту и повернуть восвояси обратно. Идти к Рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался, лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится?!

Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда остров торчал сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет. Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему, запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так, он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться, забираться в глухой чащобник — он как бы прятал себя по частям, по долям то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла ему не поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по крупицам.

Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потартает вниз — во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет Ангара — и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и засветит, запылает — не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба. Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение: надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевелящейся полыньи, и двинулся дальше.

По дороге он подстрелил кедровку. Заряда на нее было жалко,

но Гуськов знал, что к вечеру он промается не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше.

Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине Ангары, а, напротив, повернул от нее в гору и, как ни устал, как ни намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся, но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, продвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны.

И опять он услышал крики петухов и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно: даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке, они здесь действительно пели, а не горланили что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район. На западе, на фронтовых дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может, хитрей ангарских, но оказывается, что и на Ангаре они голосят по-разному.

Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на поскотину, верхняя городьба которой неровно и дыряво виляла через березник. Городили, похоже, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям — и провисли, а поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба — придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево, где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба, и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя и других; в нем начинала разогреваться накопившаяся дурная кровь, взыгрывать неопределенные поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст — не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад.

Нет, следовало найти то, ради чего он затеял весь этот поход.

Неподалеку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на поскотине за черемуховым кустом корову — крупную, пегую, в больших черных пятнах на белом или, наоборот, в белых на черном; он потому и не разглядел ее раньше, что она была под рябь березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пасся теленок — маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и знай

тыкался в ее вымя, а она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым комолым лбом.

Гуськов следил за ними с тем же особенным, пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе, когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось, и, похоже, не зря: он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дела с домашним, полезным человеку скотом, и, отлученный от него, он тянулся к нему тем сильней, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нем не хотело с нею мириться.

Корове, конечно, случайно удалось увести телка со двора: ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова ни отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся, ему показалось, что не кто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся: долби ее, долби, вытягивай все до последней капли — будет о чем твоей хозяйке вечером поговорить.

Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждало какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шел. По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно становилось все неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь.

Он тронулся осторожно вдоль изгороди, часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни, и только он открылся, донеслись звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня не простой день, что сегодня праздник — Первое мая. Ишь как: справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют, вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, к вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку — нет, видать, ничем не пришибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида — что теперь обижаться! — а взяло какое-то недоверчивое удивление: празднуют. Как до войны, будто ее и не было. И наплевать им на то, что он бродит поблизости, он тут для них не существует.

Теперь понятно, как удалось теленку вырваться из загородки на свободу. Гуляют. Все мелкие заботы сегодня ничего не значат:

у людей праздник. Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше и снова оглянулся, всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Теленок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся теперь уже на деревню — дорога к поскотине была пуста — и решительно повернул назад.

Солнце поднялось высоко, в чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угасла и гармошка, все звуки слились в одно широкое и просторное, бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезать, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрав по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корове, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору,— она послушно пошла. Теленок — это был бычок с короткими тупыми рожками — жался к матери. Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне — хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше.

Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и поворотить назад; бычок, почуяв неладное, не отставал от нее. Корова дышала тяжело, бока ее раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружье за спиной мешало, он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до речки все еще было далеко.

Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью; корова затравленно мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки.

Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ременную петлю на телка, и не успевал. Злость

у человека перешла в ярость, он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой, и только боязнь выдать себя удерживала его.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова, мыча, побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые сдавленные звуки, похожие на мяуканье.

Перед речкой Гуськов остановился отдохнуть, он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла, она отбегала и останавливалась, а потом, едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно, отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постанывал; он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятьем, чутьем — всем, что в нем было.

Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше. Он решил перебраться через речку, надеясь, что лед задержит корову. Нет, не задержал: не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лед, ноги ее разъехались — неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла — так, на коленях, поползла,— не поползла, а покатилась к другому берегу. Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом — отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег.

Они были теперь от деревни верстах в трех — не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от нее. Возвращаясь обратно, человек увидел, что теленок лежит,— он так обессилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову — быстро и точно, с мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала

корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. Хватит с него на сегодня одного убийства — иначе можно и подавиться.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его, в свою очередь, боязливо следить за ней, и изредка, слабо, со стоном взмыкивала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гуськова стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем. Перед тем как уходить, Гуськов в последний раз оглянулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он увидел угрозу — какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти.

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих пор прочно и властно.

А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался: кончилась война.

16

Кончилась война.

Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.

Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково ты-

кались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла, но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже.

И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.

Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив, в чем дело, кинулась выпрягать коней. Настена — за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся, Настена с ходу влетела в избу, всполошив стариков: испуганно приподнялась навстречу ей с лавки Семеновна, круто обернулся от окна Михеич — растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тотчас запнулась у порога: куда она так бежит, что хочет сказать им?

— Слышим: палят,— стала объяснять она и без того понятное. И натянуто, слепо, словно перебившись чем-то, закончила: — Догадались.

— Гошподи! — взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ.— Ужели вправду дождались? Теперь, поди-ка, должны шказать, где Андрюшка-то наш?

— Должны, старая, должны,— отозвался Михеич, осторожно глянув на Настену.

— Теперь вшех по домам рашпуштят... по матерям, по женам...

— Сразу всех распускать нельзя.

— Пошто нельзя?

— Пошто... Мало ли что может произойти. Без войска не положено.

— А в той войне вот так вот шпокой не объявляли,— вспомнила, помолчав, Семеновна.— Никто не знал, концилашь, не концилашь... Германца брошили, промежду шобой шхватилишь, да ишо тошней того. Так боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою.

Настена прошла в свою боковушку и переоделась. Душа ее, взлетев и возликовав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, но что-то удерживало, наговаривало, что это не ее день, не ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная, куда приткнуться, Настена прилегла с краю на кровать и привычно ощупала живот, но не проникая к нему чувством, а забывчиво, потерянно — просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем.

Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

— Из Карды... который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет... В кои-то веки...

— Лю-у-ди! — вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки.— Выходи все на демон-стра-рацию! Гитлер капут! — Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше:

Наша поступь твер-р-да,
И вр-рагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

И крик этот, песня, случайная, запоздалая для нынешнего дня, еще больше занозили и натянули Настенино сердце; горячась и болея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настена вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение, но, чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью: из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потошней,— за себя потошней, и, тотчас опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым, злым чувством, пожалела его и вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе: два сапога — пара, от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они

двое оказались в сторонке. «Ничего не в сторонке,— обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям.— Что я — не работала всю войну, не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? Счас возьму и пойду. Возьму и пойду»,— подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям.

И она действительно дождалась его. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неуемный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:

— Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! Михеич! Где ты? Настена!

— Но-но,— отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну.— Че так орешь?

— На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету — тащите с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалей. Тарасун, говорю, тащи — понятно?

— Понятно, понятно,— заворчал Михеич.— Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил.

Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

— Ой, дикошарый,— испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна.— У их, у агаповшких, вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

— Иди, Настена,— сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы.— И тарасун есть. Иди,— вскидываясь, решительней повторил он.— Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома сидеть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской — доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй. Иди.

— Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? — вмешалась Семеновна.

— Андрюшка придет — найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, доставай.

Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит: по ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от нее, не от Настены, и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею: все, может, на час, на другой утешит, победрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один. Недели и месяцы один.

А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не может того быть, чтоб не заслужила!

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, по-старушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы.

Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гама парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный особый звук — сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хорошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется,— на крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели. Подгадали: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали,— надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и знают, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий.

И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление чем ни попало, теми же ласточками, а пуще всего — желание показать, что она не хуже других и что она ничего не боится.

Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики — Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведенная для приемыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида, протапливалась и знала уход: на подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески. Да и нельзя было понять как следует, какую половину избрали теперь старики:

люди у них бывали редко, Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть-попить, в чем выйти на люди. Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден, и другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежонка подростка.

Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович — помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию Ивановичу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом.

— Иннокентий Иванович, дождались!— крикнула она.

— Дождались,— степенно ответил он и спросил:— Нету известий от твоего?

— Нету,— хохотнула и смело заглядывая ему в глаза, ответила она.— Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полсловечка.

И, подумав, добавила:

— Может, ты знаешь, где он,— скажи?

Иннокентий Иванович отшатнулся.

— Я-то откуда буду знать?— изумился он.— Чудишь ты, бабонька, чего-то.

— Если что — говори, Иннокентий Иванович, не скрой,— подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком.— А я — тебе скажу. Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу.

Во дворе избы-читальни горели огни и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели, позволил по случаю Победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой — не жалели ничего, несли последнее. Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал во всю ивановскую патефон, возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла

Надькина Лидка. Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки.

— Дождались, Надька? — со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза.

Настена нашла Лизу Вологжину и обняла ее.

— Ты че, Настена, ты че,— забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настене красное от огня и спокойное лицо.— Радая?

— Радая.

— Ждешь своего Андрея?

— Жду.

Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, и он, сконфуженный и довольный, закричал:

— Кто еще? Подходи, пока Лиза добрая.

— Я те дам добрая! — отозвалась Лиза полушутливо-полусердито.— Я только Настене позволила, да и то взаймы, до Андрея, а боле никому.

Настена тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая: «Дождались?» — ничего больше она сказать не могла. Но в этот день все было кстати. Она обнимала, и обнимали ее, она показывала слезы, и ей отвечали слезами; она принималась смеяться — ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной и надорванные, задерганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные,— чувства ее отказали ей, и она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать, а не спрашивать, послушно пошла туда, куда ее повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила: почему-то казалось, что этот день — последний, когда она может быть вместе с людьми, завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте.

Сели за столы. Максим Вологжин по праву — и как фронтовик, и как председатель — занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую — нарочный из Карды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающий ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся.

— Люди! — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло.— Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда

победили! Не придумали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит...— Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его.— Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали, и не было бы счас этого дня. Великая наша страна, огромадная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь подмогали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

Застолье поднялось и, звякнув стаканами, охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой, в разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы непонимающе, что происходит, почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней. Для ее жизни, как и для любой жизни, нужен был мир, но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и ясней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других.

Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

Кто-то ласково осудил его:

— Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?

— А он это... не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбредет...

— Я придумал?!— расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы.— Я придумал?— спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом.— Вы че это? Вы че это?!— сильней выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос.— Кто посмеет, чтоб придумать! Вы думаете, об чем говорите?! Я к вам скакал... чтоб знали. От своего народа ускакал. Ну, спасибо... Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы че это?!

Его кинулись успокаивать:

— Да нет, нет, не придумал... Не видно, что ли?

— Кто же, правда, на такое решится?

— Да он приехал-то тверезый. Ему, поди-ка, здесь уж на радостях подали.

— Че зря наговаривать на человека... Шутка ли — двадцать верст отмахал.

— Налейте ему, пускай выпьет, пускай простит нас, бессовестных. И верно, бессовестные какие...

И нарочный, выпив, простил, стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку.

— А у нас-то все знают, нет?— громко спросил Максим, потому что шум нарастал.

— Все-е — как не все!

— Такую пальбу открыли — тут мертвые и те узнали.

— А дедушка-то?— вдруг вспомнив, вскинулась Лиза.— Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает!

— Дак от выстрелы-то, поди-ка, слыхал?

— Че он слыхал! Он совсем глухой.

— Ой, дедушка-то и правда все еще воюет.

— Надо послать за ним — нехорошо.

Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «исполнить свой долг до последнего человека — до дедушки», но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседланным и стоял на дворе, за ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку:

— Вы только там ему ниче не говорите. Сюда везите.

— Вяжите и везите.

— Не вздумайте вязать. Ишо помрет.

Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусла, за которым бегали домой к Иннокентию Ивановичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо — тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.

— Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся,— крикнул веселый, с красным лицом Максим, поддергивая раненую руку.— Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики...

— Кому приходить-то?— негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой.

— Ну...— замялся Максим,— кто-нибудь придет...

— По моим сведениям,— поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович,— должно прийти шесть человек. Он отыскал за столом Настену.— Это с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший.

— Кто да кто еще?

— Да что мы, не знаем, что? Чего спрашивать!

Но Иннокентий Иванович взялся перечислять.

— А моего почему не считаешь?— заговорила вдруг Надька, когда он кончил, заговорила сразу, как сорвавшись, требовательно и зло.— Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

— Потому что ты извещение получала.— Непросто было сбить с толку Иннокентия Ивановича, он знал, что отвечать.

— Ну и что, что получала? А ты считай. Он придет. Я говорю: он придет,— с вызовом обращаясь ко всем, накалялась Надька.— Вот увидите. Не надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь — так и говори.

— Тогда и мой придет,— глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова.

— Про твоего не знаю, а мой придет.

Бабы неловко заговорили:

— А что — все бывает... Он в Карде у сватьи Настасьи...

— А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог... Вот и верь.

И в этот момент привезли мельника, дедушку Степана. Нестор ввел его в дверь под ружьем, с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях, глазами, не выказав ни удивления и ни страха — ничего, будто то, что увидел, и собирался здесь застать.

Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

— Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.

— Дурак ты, Нестор,— опомнилась первой Надька.— И как мы с таким дураком не пропали?

— Дедушка!— в десять голосов ахнули люди.

К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг друга:

— Дедушка, война кончилась!

— Дедушка, миленький, где ж ты был?

— А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.

— Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!

Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в Атамановке узнал от них, что случилось, они наконец поверили и сами: кончилась война.

17

Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич, как нарочно, не торопился. Его шитик, даже и не заваренный еще, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась: нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Но и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужику, она больше не могла. Ей казалось, что теперь, раз кончилась война, вот-вот должно что-то решиться в его судьбе, а значит, и в ее судьбе тоже,— поэтому надо, не медля, повидать мужика, понять, что настроен он делать, куда кинуться. За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова была на крыльях лететь к нему, чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из земли трава и оплывают зеленью леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое другое время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой сотворить. И сны ей снились тревожные, неразборчивые, не под разгад: то будто кто-то щекочет ее, кто-то неизвестный, невидимый, и она, заливаясь от смеха и ерзая на бегу, мчится со всех ног в постель, чтобы спрятаться под одеяло; то она разговаривает с коровой Майкой, и корова умно и дельно ей отвечает; то самое себя, маленькую еще, жившую под Иркутском, она, взрослая и замужняя, учит плавать в Ангаре; то что-нибудь еще. Настена просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и все думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя — эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами

до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват — кто говорит, что не виноват!— но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?

Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме.

Живот у Настены раздался, и когда она перед ночью оголяла его, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Настена замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесное самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все — и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и он немного пугал Настену: если б девочка, была бы надежда, что пойдут еще дети, родные по отцу и матери братья и сестры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознавала, где она есть и что с ней происходит. Она боялась того дня, когда откроется беременность, но, боясь, и хотела, чтоб он скорей наступил — тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она носит в себе ребенка. Да и ожидание этого дня измучило Настену. При ее полноте не заметят еще, может, с месяц, а потом сразу ахнут. Все чаще Настене представлялось, что ее с силой затягивает в какую-то узкую горловину и будет затягивать до тех пор, пока можно дышать, а затем, придавленную, задыхающуюся, полуживую, в последний момент куда-то вынесет. Вот заглянуть в эту новую жизнь ей не удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой.

Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком красноярье. Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокентия Ивановича вот величали,

он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого не прикладывался — до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Атамановки не выглядывал. Жил он от колхоза самостоятельно, но в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крючить горох — то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено.

Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.

— Силенки нонче совсем не стало-ка,— объяснил он.— Не справлюся один. А без спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет.

Настена пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась: вот и надо было вызваться к деду Матвею, там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала? Не умея плавать, Настена, правда, боялась работы на воде, но как-нибудь один день, наверно, перемогла, перетерпела бы свой страх. Того ли ей сейчас следует бояться?

Она подходила к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западающий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но течение там казалось много сильней и туже, чем на освещенной половине. А на солнце вода ярко, слепя глаза, играла блестками, словно отвлекаясь, кружась и задерживаясь в движении. Часто и весело, с каким-то своим восторгом плавилась рыба — от самой маленькой, отчаянно выскакивающей в воздух, разогнавшись, подряд по нескольку раз и смыкающей за собой круги в кружевную лестницу, до большой, взрывающей где-то вдали воду изнутри с солидным и довольным чмокающим звуком. Под яром лежал еще лед — колючий, дырявый и грязный, от него, пробив в песке и камнях дорожки, струились ручейки. По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь — плишками. Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там — мальки, а здесь — омулявки, как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались в глубь, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к берегу. Со свистом проносились над головой Настены стрижи, остро пахло, забивая дыхание, сыростью; лениво чавкала слабая, изнутри себя

берущаяся волна, потому что в воздухе было тихо, сморенно; издали, с верхнего мыса Покосного острова, доносился шум воды. Тень наступала, ее движение видно стало глазом, и, едва зашло солнце, протянул, словно закрывая день, и опять затих ветерок. Теперь уж вся Ангара от берега и до берега побежала быстрей; Настена с детства верила, что в темноте течение сильней, торопливей, чем на свету.

Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены — три красных и два белых. Настена опустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

— Ну что, дедушка,— сразу спросила она,— кого тебе Максим на помощь дал?

— Дак кого дал...— Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лодки.— Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка права.— Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами.— Фитиль, паря, где-то-ка посеял,— объяснил он.— Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить только в руках держал — куды от он запрыгнул? — Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман. — Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напроть релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хужей всех было.

— А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу,— сказала Настена, оглядываясь опять на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

— Но,— осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене.— Почему-ка не взять, коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

— Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сию пору на суху.

— Дак талины я тебе подсоблю нарезать — эко дело!

— Нет, нет, дедушка,— испугалась Настена.— Я сама. Не торопясь.— И чтоб он не заметил ее страха, добавила:— Ну, там видно будет...

— Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? — Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел.— А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько. Придешь, не омманешь?

— Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше. Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту, уж надоело — все отдохну немножко.

— А, ну-ну. Это конешное дело. Скажу, как велишь.

И весь день Настена провела на реке. Снарядились чуть свет, по холодной еще свежести и глухой, сонной тишине, в которой слышался только все тот же дальний шум воды на перекате да едва различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой, маслянисто отсвечивая, протаскивало воду. Поплыли в большой, как баркас, устойчивой лодке, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый, неуклюжий бакен. Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей в корме за одноручное весло. Отвернули от берега, и с этих пор Настена старалась на воду не смотреть, уставившись глазами себе под ноги и боясь думать о том, что скоро придется подниматься в лодке в рост и что-то делать, как-то помогать деду Матвею.

С этим, первым, бакеном помаялись порядочно. Перегребая, промахнулись и оказались ниже, чем надо, а все попытки хоть немного подняться против течения посреди реки ни к чему не привели. Да и смешно было на это надеяться. Вода тут неслась мощным, туго натянутым гудящим потоком, перехлестывая брызги через борт. Выругав себя за дурость, дед Матвей сдался. Погребли к берегу, теперь уже левому, который был ближе и на который Настена больше всего и стремилась попасть — да не так, не с бакеном, не с дедом. И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, уговорить деда Матвея приехать за ней под вечер — тогда бы и установили они этот проклятый бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддергивать его, чтобы снесло. Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. Установив как надо бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

— Этот-ка самый чижолый,— признался он.— Я и зажигать, и гасить его поперед всех плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу.

И действительно, второй бакен поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

— Хватит. Уговор был на два,— весело, и без того довольный сделанным, говорил он.— А об тех у меня заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куда надо, покуль день не ушел. Пособить тебе, нет?

— Я сама, дедушка.

— Ну, как хошь.

Он давал ей легкий, быстрый шитик, но Настена осталась в той же лодке: она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда — все, пропала. Тише едешь — дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайной, поспевшей ли смертью, но должен умирать непременно на земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настене только однажды, еще задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нем ее пробирала жуть.

Она высадила деда у будки и, отказавшись чаевничать, сразу взяла через Ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем, которой она всякими правдами и неправдами добивалась (а какими правдами?— только неправдами!), когда встреча эта после двух почти месяцев розной жизни была наконец близка, Настену охватило раздумчивое, осторожное желание оттянуть ее, оставить все, как есть. Что она сейчас скажет Андрею? Кончилась война, пришел в деревню еще один фронтовик, прежний партизан Лука Смолин, пожилой уже, молчаливый мужик, взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же — возницей. Михеич три дня назад заставил ее, Настену, написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семеновна ходит лучше, уже и без костылей,— тепло, что ли, помогло?— хорошо, конечно, что ходит, но Настена готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что еще? Живот... Это он увидит сам. Да, и недавно осмелилась-таки, продала Иннокентию Ивановичу часы, и ясное дело, продешевила, а что дал Иннокентий Иванович, внесла за облигации: наступил срок платежа и деваться было некуда.

А что скажет ей он? Что ему сказать? Посмотрит она на него и поймет все без слов: и каково ему пришлось, пока не виделись, и что держит он на уме. Долго так теперь продолжаться не может, надо что-то решать, куда-то приклоняться. А что, куда?.. Близок, близок суд — людской ли, господень, свой ли?— но близок. Ничего в этом свете даром не дается.

Солнце стояло еще высоко, но на воде было свежо, с севера потягивал ветерок. Настену всегда удивляло, как ветер летом мо-

жет идти встречь течению,— казалось, что река своим широким и могучим движением должна двигать за собой и воздух.

Она гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от работы. На средине реки, как на воздусях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало — избы, лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем — размытость и хлябь. Высоко в небе над Ангарой маленькой точкой парил, что-то высматривая и надумывая, ястреб, и Настена впервые в жизни невесть с чего пожалела эту вредную птицу: тоже не сладко дается ей хлеб. Настене вообще в последнее время казалось, что никого осуждать она не имеет права — ни человека, ни зверя, ни птицу, что всякий живет своей, но не зависящей от него, подневольной жизнью, изменить которую он не в силах.

Она ухватилась за нижний край острова, по другой, закрытой для деревни стороне затолкалась опять вверх и приткнула там лодку к берегу. Теперь осталось переправиться только через протоку — втрое меньше того, что выгребла. Но остановилась она не от усталости. На нее навалилась другая, душевная слабость. Настена чувствовала в себе путаницу, неразбериху, в которой сошлись вместе и радость, оттого что она увидит сейчас Андрея, и страх перед этой встречей, страх заглянуть туда, что покуда сокрыто темью. Надо было привести душу в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше. Настена сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успокоение. Но оно не натекало, не наступало, и беспокойство не проходило. Настена сидела уже не с улыбкой, а с гримасой на лице и вспоминала, как она продавала Иннокентию Ивановичу часы. Уж что-что, а это воспоминание утешить ее не могло.

Иннокентий Иванович долго вертел часы в руках, прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену.

Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их Иннокентия Ивановича терзало желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он и к глазам подносил их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них каких-нибудь следов — надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. По-

дождав, спрятав свое нетерпение, поманежив еще себя и Настену, он наконец как бы между прочим спросил:

— Откуль они у тебя? Андрей, что ли, послал?

Ответ у Настены был приготовлен, и она, так же играя в прятки с Иннокентием Ивановичем, сказала:

— Какой Андрей... Для него же, для Андрея, покупала в прошлом годе в Карде. А теперь вот приходится продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет — сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

— За сколь купила-то?

— За две тыщи.

Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку.

— Ну, у меня таких денег нету,— покачал головой Иннокентий Иванович.— Ишь, а все прикидываетесь бедненькими. Две тыщи р-раз!— и достала, отдала, как два рубля. Это кто же в Карде продал их тебе?

— Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала, насбирала,— врала напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу.— Счас-то разве стала бы покупать?

— Двух тыщ у меня нету. Я не такой богач, как ты,— примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, все так же пристально наблюдая за Настеной.— Тыщу с грехом пополам, может, наскреб бы, а больше нету.

Она, подумав, вздохнула:

— Ну, тогда хошь за тыщу. Кому я их еще тут продам? А в Карду ехать — день, а то все два терять надо. Счас не до того.

Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал, но не поверил он Настене, видела она, что не поверил. Не надо бы к нему ходить, но больше действительно идти было не к кому: в Атамановке только у него водились деньги. А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему. Уж больно он любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех — так на, нюхай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-вареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, скоро еще один кусок поднесу — не боюсь. А бояться-то следовало: не ангел. Нет, что ни сделаешь, все не так.

18

Настена помнила, что Андрей должен теперь находиться в верхнем зимовье, но не знала, что делать с лодкой: или спускать-

ся и прятать ее в речке, или оставить напротив острова под берегом — с той стороны не увидать, а на этой, если кто появится, все равно не скрыть. Так что лучше и не прятать. Мало ли для чего потребовалось ей за Ангару! Нарезать вот талины свекру на плетенье, а тальники здесь самые богатые. Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями — правда, на остров, не дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если сделала доброе дело — везде ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был. Едва Настена, переплыв, вытащила нос лодки на сухое и, вскользь осмотревшись вокруг, стала подниматься на невысокий берег, из кустов, густо нависших над водой справа, вышел человек. Настена не заметила, как он вышел, она услышала лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник. Настена вскрикнула.

— Что же ты ее так оставляешь? Унесет,— сказал он и, пригибаясь, пошел к ней.

Это был Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью и приохивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо.

— А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал,— щурясь оттого, что так близко видит ее, бормотал он быстрыми выдыхами.— Услышал утром голоса на протоке и узнал тебя. Догадался, что приплывешь. И весь день караулил. Потом вижу: гребешь.

Он прижал ее к себе еще крепче.

— Тише ты, медведь,— оттолкнулась она и выпятила живот.— Раздавишь. Не видишь, что ли?

— Есть? — пьянея уже этой радостью, коротко спросил он.

— Каши, думаешь, наелась?

Он неумело, отвыкнув, с отрывистым гулом засмеялся и осторожно, проверяя упругость живота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настене было приятно это прикосновение, она глубоко и ласково вздохнула.

— Ниче еще непонятно,— сказал он.

— Ну уж, непонятно...

Она взяла его ладонь и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь, ребенок.

— Понятно?

— Вроде че-то есть.

— Вроде... Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю: это парнишка.

— Знаю,— хмыкнул он.— Откуда ты знаешь?

— Спорим на девчонку, что парнишка?

— Роди сперва этого.

— Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался.— Настену самое же и распотешили эти слова, она рассмеялась.

Но, вглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой, раньше назначенного времени встречи с ним стало меркнуть. Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже и не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой,— так оно скорей всего и было. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с последней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания...

Андрей заметил, с каким страданием она смотрит на него, и дернулся:

— Не нравлюсь, что ли?

— Андрей...— Настена ткнулась ему лицом в грудь, чтобы не отвечать, и оттуда, от груди, зашептала удушливо то, что считала самым важным: — Андрей, ты не знаешь еще: кончилась война.

— Знаю,— спокойно сказал он.

Настена отшатнулась от него:

— Как знаешь? Кто сказал?

— Слышал ваш салют.

— А-а, стреляли... ага.

— У меня теперь глаза и уши такие стали... дале-о-ко вижу и слышу.— То ли он отводил разговор, то ли действительно решил похвалиться.— Самому себе завидно. Утром вы еще по большой Ангаре греблись, а я уж знал: плывут. И вон откуда, с горы, от зимовья, услыхал. А как на протоку вышли, и тебя определил.

— А я тебе ничего почти и не смогла привезти,— медленно и отчужденно, думая о другом, сказала Настена.— Так, хлеба маленько да яичек. Боялась, чтоб не заметили.

— Мне и не надо. Теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена. Мошка вот-вот загудит. Заест она меня без сетки.

— Сетку... И правда, как я забыла про сетку?

— Привезешь в другой раз.

— Привезу...

Она стала думать о том, где взять сетку. Его, Андрея, старую из конского волоса, давно истрепали, а лишней в доме не было. Надо где-то найти: мошка хуже лютого зверя, а здесь он, мужик, один, вся мошка кинется на него.

Они все еще стояли, топчась друг возле друга, рядом с молоденькими, одного с ними роста, распускающимися березками. Листочки на них уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками.

В просветах между березками виднелась Ангара. Деревню скрывал остров; солнце, склоняясь, било туда косым упором. Берег здесь был широкий и красивый — в черемухе, в березе, раскиданными там и сям по луговине, чуть заметно покатый к воде и молчаливый, словно затаившийся или необжитый. В траве хлопотали какие-то маленькие, но безголосые птички с полосатыми, как у бурундуков, спинками и высокими головками. Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. Настену еще на реке подмывало погадать, побоялась, теперь бы уж насчитала лет с двести — живи не хочу.

— Ну, в зимовье пойдем, нет? — спросил, оглядываясь почему-то, Андрей.

— Далеко, поди,— замялась Настена.— Лодку брошу... не угнал бы кто.

— Кому здесь...

Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскали место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость, колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок; Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его, но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась из всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку, она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фронта: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть — почище. И тоскливо, безысходно

сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится.

А кукушка, не меняя голоса, все куковала и куковала, наговаривая — кому столько?— деревьям, реке, камням. Шумела пред островом вода; под низким боковым солнцем блестела в деревьях ранняя паутина. От наливающейся зелени плыл и туманился зеленой же поволокой взгляд, дыхание холодило влажными тягучими запахами. Сверху на полянку оборвалась бабочка и долго не могла вылететь, тычась в плотный кустарник. Но вид на Ангару сквозь ветки оставался, в нем торчала даже корма лодки под берегом, и Настена часто взглядывала туда, боясь не столько за лодку — вообще чего-то боясь, чего-то с неотвратимостью ожидая.

Андрей поел, и, чтобы разговор не ушел в сторону, Настена сразу спросила:

— Кончилась война — что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

— Не знаю,— пожал он плечами, и Настене стало не по себе, ей показалось, что он чересчур спокойно сказал «не знаю», что он и не хочет ничего знать.

— А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

— Что ты хочешь, чтоб я делал?

— Почему же я хочу... Не я... Но... ничего не делать, или как? Ты скажи.

Он обернулся к ней и, помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил:

— Что делать? Тебе — рожать, вот что делать. Умри, но роди: в этом вся наша жизнь. Делай что хошь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься.— Он начал твердо, даже жестко, но голос его сорвался; голос его вообще, Настена заметила, часто ломался, то становясь некстати суровым, то тут же рядом жалобным, чуть не плачущим — или от постоянного молчания, от одиночества, или от чего-то еще. Андрей откашлялся и продолжал:— А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел. — Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом:— А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно.— Он выпрямился и качнул рукой вниз.— Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропáсть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих.

Пропа́сть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

— А я и счас не знаю, для кого прибежала,— призналась она.

— На все плюнь, обо всем забудь — рожай. Ребенок — все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь — будет легче. Ребенок спасет тебя ото зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком. Нету такой вины, Настена. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтоб сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным углям... вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь — прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя — всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею...

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

— Андрей! Андрей!— испугалась Настена.

Он невидяще глянул на нее и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой, издевательской мыслью она вдруг вспомнила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек — несколько: вот и тянут его в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа — потемки, будто хоть немножко знает свою.

Земля под Настеной стала холодить, и Настена приподнялась, села на колодину. Андрей подвинулся к ней ближе, но не обнял, как она насторожилась, а закачался маятно вперед-назад. Солнце уже ушло с полянки, отодвинулось к реке. В корме лодки прыгала, дергая хвостиком, плишка — взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами заглядывая в воду. На востоке, где всходить солнцу, появились белые легкие полосы туч, и Настена затревожилась, не сменилась бы погода.

— Может, схожу на Лену,— неожиданно сказал Андрей.

— На Лену?— удивилась Настена.— Зачем?

— У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов.— Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, и повторил:— Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе. Он холостой еще был... хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И уме-

лый — все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, а там — последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту — вроде ямочка. В драке вилами в малолетстве проткнули.

И вот мы с ним уговорились: кого убьет, другой чтоб приехал и рассказал. Он с Лены, а я с Ангары — земляки, далеко ехать не надо. Он чудной маленько был. А как, говорю, обоих убьет? Обоих, говорит, не убьет, для этого надо, чтоб Ангара и Лена в одну воду сошлись.— Андрей коротко хмыкнул и длинно, протяжно вздохнул.— Я ему свою грамоту показал: мол, они и так сходятся в одну воду — там в море. А море, отвечает, это смерть. Они живут, пока по своему руслу текут, а море — смерть. После смерти и мы сойдемся. Приходим мы под утро с «поиска», а мне говорят: Колю убитого принесли. Может, схожу, расскажу,— не прерываясь, продолжал он.— Я знаю, помню, где похоронен, сам хоронил. Уговор надо бы выполнить.

— Как же ты пойдешь?— осторожно спросила Настена.

— Прикинусь, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю и обратно. Как хоронили, не плакал, там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный — легче. Думаешь, думаешь до одури, а мысли все колючие... Жалят, жалят... Думаю: если пойти, сдаться — получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил — прими. Чем на себя руки поднимать — пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже.— Настена замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой:— Нет, не пойду. Не за себя боюсь — мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зароют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня,— съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты — на ребенка слава упадет, век ему маяться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим — должно разъяснеть. Может, правда, на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: что счас Настена — поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Не дай бог тебе кому сказать. Ты уж и не жена мне — с женой дома живут, ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть.

— Не говори так, Андрей, зачем ты? — Она прижалась к нему, и неловкой, тревожной радостью, как у человека, который, заблудившись, не знает, какая на небе заря — вечерняя или утренняя,— занялось сердце.

— Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой за речкой, в кочках? Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, ровного места нету. А хужей всего — не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

— Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов ушел, Иннокентий Иванович на твое место заступил.

— Ага. Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего, из-за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдем в деревню. Нет, затаились, пыхтим и молчим. И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко. Мы с тобой остановились и друг на дружку посмотрели. Помнишь? И так хорошо, так радостно стало, что дождик, что мы с тобой одни и что не успели поругаться. И будто другие люди тут до нас были, а мы только что встретились. И не у одного, у обоих сразу такая перемена. Что вот, что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо?

— Потом пошли на горох...

— На горох пошли поздней. Бросили литовки — и друг к дружке. И дождик-то какой-то не мокрый был, летит и на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда, это он нас заворожил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь бы пошел за тобой. Вот ведь что вспомнилось...

— А это мы сидим счас, Андрей? Или те, другие, которые косили?

Он, склонив голову набок, задумался дальней, тяжелой мыслью.

— Не знаю. Не те и не другие, наверно, а третьи. Была война... все было. Нет,— встрепенулся вдруг он.— Это мы, мы, Настена. Счас это мы. Иначе я бы не вспомнил. Это мы. Это не пропало совсем. Не одно плохое у нас было, было и хорошее — правда же, было?

— Зачем же помнить плохое?

— Все надо помнить, Настена. Все надо помнить, но плохое, как срамное место, без нужды показывать не надо.

— А помнишь?..

И она, завороженная и вознесенная воспоминаниями, близко

и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего: и что он оборван, запущен, не чист — это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную. Столько, оказывается, в ней было счастья! И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне в леса, воздух погустел, потемнела и остыла зелень. Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся лиственничная ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей. Очнулась она и испугалась:

— Господи, да ведь мне нельзя без прутьев домой показываться! У тебя хоть ножик с собой?

— С собой.

— Пойдем скорей.

Она пропустила мимо ушей и только после догадалась, почему он спросил, провожая ее:

— Скажи, Настена, как я появился здесь, никого из деревни не убило? Не было похоронок?

— Как ты появился?

— Ага.

— Кажется, нет. Нет, не было. Последний был Володя Сомов. Осенью еще.

— Ну-ну.

Он искал себе вину поменьше. И она задумалась: зачем, для чего? Для себя только или он прикидывал что-то другое?

19

Через несколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своем огороде, где только и сделали, что натаскали гряду под огурцы, но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтоб день не пропал совсем впустую, решила: поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала, отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки, свалю с души одну печаль. Она обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семеновне сказала, будто сходит порыбачить,— Семеновна все хныкала, что «вот люди ловят, а они с нонешней Ангары хвоштика омулявошного не видели». Настена так и сказала — «сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке,— то и другое означало «сходить». Семеновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволенья, а Настена уже выскочила и быстрым шагом

направилась к Ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки.

Дождь глухо, с сытым ворчанием шумел, входя в воду; река казалась серо-стальной и тусклой. Остров казался размытым и приподнятым, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настена вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель, она бежала по льду где-то здесь же: время идет, а у нее ничего не меняется, и зимой и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть все туда же, все для того же. Настена была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, теплыми струйками, набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, и сбивалась с греби.

Она переплыла Ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженно: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, что помнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, а у них — нет. Попробуй Андрей возвернуться туда, откуда он скосил свою жизнь! Попробуй она воротиться к той Настене, какой была полгода назад! А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно: та же Ангара покажется впятеро шире, те же весла тяжелей, та же вода — страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть.

Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить, через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году после льда Настена несколько раз ставила под своим берегом — и добывала: приносила и ельцов и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошел.

А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморенного ельчика. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят — наплевать. Так или иначе все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет в воду. Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись. Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипыванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение — или оно тоже чудилось, наплывало перед глазами, которые не любят пустоты? Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад — шла сначала по-над берегом по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени драньевую крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз пошел у них иначе, чем накануне, когда Настена приплыла впервые и они встретились на берегу.

Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, как он говорит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там,— молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда — она сквозь камни прорастет, посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силой ее

не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же: об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится. И, увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшее, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую настороженную фигуру в грязной одежде; попав после дождя в сырое темное зимовье с горьким запахом спертого, задушенного воздуха,— увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась.

— Не топишь ты здесь, что ли?— спросила она, не сумев сдержать раздражения.

— Печки нетути,— осторожно, почувствовав ее настроение, ответил он.

В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всем теле и застучало в голове, Настена простонала:

— Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу — куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась... и без того задохнулись в смертях...

Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:

— Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

— Андрей!— испугалась она.

— Избавишься, Настена, избавишься,— клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он.— И то: устала — сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь?— Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос:— Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют. А меня поставят. Тебя он хошь из-за пуза пожалеют. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь как ладно.

— Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

— Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, недолго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас — Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще на мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная — пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару

надо — ну и меня по пути подбросишь, я тебе полдороги погребу.

Прижав к груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась:

— За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше... я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь? Зачем ты так?

— Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день, сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет!— кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее с такой злобой, что она оцепенела.— Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась — лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а то ты надсадилась таскать. Хватит. Хватит с тебя, отдохни. Больше сюда не показывайся, все равно ты меня не увидишь. И правда: на шею сел бабе — тяжело! Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был,— достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

В надежде остановить, унять его она шагнула к нему — он искривился в быстрой брезгливой гримасе и втянул голову в плечи.

— Погляди на меня, Андрей,— попросила она со слабой настойчивостью.— Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

— Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?

— Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей: что ты! Не надо так, ну, не надо... Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь? — И, не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся, через силу сдерживаемых рыданий.

— Себе, значит, не верь, а ей верь... Славно,— буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на все, на все кругом, слепой, безысходной злостью.

Они надолго замолчали, Настена поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять — не проводил.

Она вытерпела немного — только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла — больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой ли, она не могла. И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он вышел, она кинулась ему на шею сама не своя

от радости, не помня ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называя себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что наговорил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья,— от всего этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай.

20

А дальше все покатилось как под горку, и под горку крутую.

В субботу Настена истопила баню, закрыла ее и, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжилась и дала полкуска черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха — сроду вместе не мылись! Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А может, действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот внутрь — а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? Как ни старайся, видно же, видно.

На этот раз, на удивление, обошлось. Семеновна или не заметила ничего, или, заметив, не поверила, перевела то, что баба раздобрела, на другую причину. И все же дважды или трижды, пока мылись, Настена ловила на себе ее упрямый, зыркающий взгляд и тогда подбиралась вся, поджималась так, что от натуги сводило скулы. После, когда оделась и вышла, пожалела: чего скрывалась? Самый удобный и верный был момент, чтобы, наоборот, показаться во всю свою красоту, а спросит — сказать, что есть. Даже лучше, если бы свекровь услышала это от нее, от Настены, а не от чужих людей. Наверно, не хватила бы кипятком, а что раскричалась, распалилась бы — пусть, зато Настена наконец освободилась бы от этого беспрестанного ожидания, от этого страха, который чем дальше, тем страшней и невыносимей.

Но баня для Настены все-таки даром не прошла. Семеновна с тех пор стала приглядываться к ней со своим особым, на один глаз, целящим прищуром, который, Настена знала, ничего хороше-

го ей не сулит. Значит, старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота: свекровь на дню по двадцать раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место, она наводит глаза, а Настена, скрываясь, или прошмыгивала бочком, или ходила, загораживаясь руками, запахиваясь в просторный Андреев пиджак, или сгибалась, выносила вперед грудь. А живот, тот в последнее время поднимался как на опаре, и никакими хитростями утаить его было уже невозможно.

И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суетясь и домашничая каждая за своим делом,— Настена больше во дворе, Семеновна по избе,— свекровь, будто впервые наткнувшись на Настенин живот, спросила прямо:

— Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то?

Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, твердой стороной, Настена ответила:

— Брюхатая.

— Эва-а-а!— удивленно и даже как бы обрадованно, что подозрения ее оказались непустыми, протянула Семеновна и вдруг подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой.

— Шуцка!— выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась.— Шуцка! Ой-ё-ё-ёй!— заголосила она, хватаясь за голову.— Штыд, штыд, како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меште. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая... Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Да штоб у тебя там червяки завелишь! Штоб тебе вовек не опроштатьша! От бы хорошо было, от бы хорошо! — Семеновна и сама испугалась своих проклятий и, остановившись, поперхнувшись, с последней надеждой спросила: — Ты, может, врешь? Может, нету нице?

— Есть,— с каменным бессилием, зная только, что иначе отвечать нельзя, сказала Настена и невольно качнула вперед животом.

— Ешть,— простонала Семеновна.— Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом — нет. Не кошка ли ты? Не кошка ли ты, пакоштливая, блудливая? — нашла она новое слово и, как на кошку же, крикнула, указывая рукой на дверь:— Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет — це мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают —

гошподи! Я тебя, девка, ш первого дни разглядела, я шразу поцуяла, какая ты ешть. Побежала, принешла! Уметайша, не жди, покель я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло.

Настена в чем была, в том и вышла. На крыльце она подобрала ведро, в котором выносила теленку пойло и впопыхах забыла на ступеньке, и поставила его на лавку. Из избы продолжали греметь и шипеть проклятия; Настена постояла еще, как бы не понимая, не веря, что они относятся к ней и что ее действительно изгнали из дому, потом нерешительно, все еще медля чего-то и ожидая, открыла калитку. Неподалеку на полянке ребятишки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было некуда — Настена пошла к Надьке.

Она не обижалась на Семеновну — что тут, в самом деле, обижаться? Этого и следовало ждать. Но до самого последнего момента Настена надеялась, что, раз она ни в чем не виновата, правда каким-то образом должна сказаться и уберечь ее от такой расправы. И не справедливости она искала — сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой. Неужели своя кровь ничего ей не шепнула, не плеснула в сердце пытливым толчком? На что тогда рассчитывать от людей? Вот он, нарыв, который долго нарывал, тянул из нее терпение и силы, наконец лопнул, а приложить к ране нечего. Много ли помогут одни свои наговоры, бедное утешение в том, что надо все перетерпеть ради чего-то, что наступит после? А что там хорошего наступит? Нет, нечего ждать, нечего.

Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходилась сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целости-сохранности донести до того дня, когда придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жалостью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее. Родной уж стал, восемь лет оттрубила. Не обидно, что так вышло,— нет, не обидно, а стыдно; и не за себя стыдно, она свою дорожку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать некуда. Одна, совсем одна.

Она пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорится, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать за-

ново: стоит только сдвинуться с того места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы называть тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

— Че ухайдакалась?

— Пустишь меня пожить маленько? — сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена.

— Кого — тебя?

— Меня.

Надька, собиравшаяся отмахнуться, вгляделась в нее внимательней:

— Че такое стряслось?

— Выгнали.

— Тебя выгнали?

Настена показала на живот:

— Видишь?

— Пи-пи-пи-и,— не своим голосом запела Надька и ахнула:— Заправду, че ли? Ты откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка.— Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а сама, склонившись, встала напротив.— Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче... Ты откуль его взяла? Ну, утворила-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Ничче себе! Кто это тебя?

— Святой дух.— Чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормошили, не тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.

— Святой-то, святой,— подступала Надька.— Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде не было. Нет, ты давай сразу рассказывай. Чтоб без околичностей. Я, может, сама этого святого захочу проверить?

— Не догонишь, Надька.— Понимая, что больше объяснять никому ничего не понадобится, достаточно одной Надьке, Настена решилась. Противно, но делать нечего, что-то говорить надо. Не первый и теперь уж, наверно, не последний грех на душу.— Помнишь, уполномоченный приезжал?— спросила она.— Который на облигации подписывал?

— Ну?

— Вот и ну! — озлилась Настена.— Запрягли, поехали, и... привезла. Долго ли умеючи?

— Недолго, недолго, я знаю,— торопливо согласилась Надька.— Долго потом расхлебывать. Ну, Настена! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня. А дальше-то как хочешь? Если Андрей придет? Он же убьет тебя.

— Пускай. Что ты спрашиваешь: как, как? Откуда я знаю?! Скажи лучше, могу я у тебя первое время перебиться? Пустишь, нет?

— Да можешь, можешь. Куда тебя деть. Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, конечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила,— не утерпела, хихикнула Надька.— То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками, и пришла? Ничего не взяла? Может, мне сходить, собрать там?

— Не надо. Я потом сама.

— Сама... Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Не то бывало. Встарь бывало и собака с волком живала. Проживем. А то че ж: названье одно, что баба. Нет, ты роди, потом поглядим. Как его хоть звали?

— Кого?

— Кого... Кого еще — этого твоего, который тебя на заем подписывал? Ловкий какой! Имя-то хоть спросила?

— Нет.

— Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего.

Надька поохала еще, поахала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает — как же было упустить возможность рассказать первой! А Настена, оставшись одна, упала на топчан, закрыла глаза, и дыхание ее перехватило крутой, обжигающей болью. Она бы и заплакала — так хотелось вволюшку пореветь, чтобы вынести из себя эту непомерную, охватившую уже все тело, несусветную боль, но боялась, не повредили бы слезы ребенку. И долго с одним тянущимся стоном каталась она на топчану, то вскакивая, то падая снова, и малой каплей не было ей ни в чем облегчения, не было ни затишья, ни усталости измученной душе.

Поздно вечером пришел Михеич и через Родьку вызвал Настену в ограду. Он сел на суковатый, истыканный топором чурбан, Настена осталась стоять. Она едва держалась на ногах, но сидеть не смогла бы совсем — так хоть оставалась возможность переминаться, шевелиться, а неподвижность ее давила. Корявыми, трясущимися пальцами Михеич набил трубку и закурил, не сразу добыв из кресала огонь. Хватил дыму и захлебнулся, закашлялся, отвернувшись, склонился к земле, зашелся, натягивая и надрывая внутренности, и отдышался не скоро. Настена ждала. Отдышавшись, сделав еще несколько успокаивающих затяжек, Михеич поднял на Настену слезящиеся глаза и устало, вымогающе сказал:

— Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не го-

вори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня. Я ить отец ему.

Настена покачала головой.

— Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, если ты от меня скроешь... Хочу я спросить его, на что он такое надеется? А? Не говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец. Доигрался... Сведи нас, Настена,— почти с угрозой потребовал он.— Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:

— О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

— Не ври, Настена.— Михеич поднялся и пристукнул трубкой по ноге.— Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще?! Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. От оно, доказательство-то.— Он чуть не достал трубкой до Настениного живота и отдернул ее.— Куды ты его денешь? Куды? Я тебя спрашиваю!

Понимая, что не надо бы этого говорить, но не найдя, не зная, что больше сказать, стараясь закончить, оборвать скорей разговор и уйти, упасть опять на топчан, она достала черного, нечистого, подложного козыря:

— Я с вашим Андреем четыре года прожила и — ниче. А ты говоришь: доказательство.

Он замер, испуганно заморгал, глядя на нее, и повернулся, тяжело зашагал к воротцам. Кто-то, видно, проходил в это время по улице; Михеич, открыв воротца, дернулся обратно, но подтолкнул себя и вышел.

21

Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки угомонятся, накинула и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, прихватила платье, фуфайку и чирки в руки и босиком на цыпочках вышла. На крыльце под глухой стеной она оделась и обулась и так, в полном облачении, но простоволосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя

себя, надо ли делать то, что вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потерянным, желанным покоем.

Ночь была жутковатая — морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь не направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, накрепла еще сильней. Постройки в кромешной темени почти и не выделялись, приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его инакая, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление воздуха. Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней.

На Ангару она и наметилась, поднявшись с крылечка; по ночам да непогоде, скрываясь от людей, она давно уже знала только один путь. Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест. Одноручное весло Настена не тронула: управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на воровство, но ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих — еще науськают собак или придумают что похлеще; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая — Настена испуганно остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут. Сегодня она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была ей на руку, тишины, как никогда густой и чуткой, выдающей любой маломальский звук, и вот этого лая, который скорей всего был пустячным, с сонной собачьей дури, потому что скоро умолк,— во всем ей чудились намеренность, подстроенность, дурное предзнаменование. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, спустилась она под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка. Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню.

Здесь, на Ангаре, было светлей: от реки поднималось серое, исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за мерклой прокладкой

виделось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыскала глазами огонек бакена — белого, который она помогала деду Матвею ставить и который сплавляли вторым, и оттого, что он здесь, не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь и немощно опускаясь, предутренний ветерок...

Пора было браться за весла: как ни морошно, а летняя ночь все равно коротка. Настена рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не получится. Слишком долго пролежала в постели, просидела на крылечке, долго скрадывала весла и таилась, пока снесет, на воде — время не ждало. Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не причаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу — достаточно. Похоже, что она, Настена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало,— где, когда, что? К чему теперь доискиваться? Ничего это не даст. Успеть бы предупредить Андрея, уговориться с ним, а там будь что будет. Такую страшную, непосильную чувствовала она усталость, что хотелось отгрестись подальше, опустить весла и лечь, закрыть глаза — пускай бы тащило, уносило куда попало, хуже б не стало.

Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, что живет она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку, переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном живот. Теперь, когда прятать его было ни к чему, когда каждый кому не лень, тыкался в него глазами и опивался, как сластью, его открывшейся тайной, начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое, дрожливое ощущение его наполняющейся жизни. Остался один страх: что с ним будет? Непросто было без конца выдерживать на себе хваткие и судные взгляды людей — любопытные, подозрительные, злые; как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней,— правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали, и всякий раз искали подтверждения молве: тут ли он, живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил: мол, держись, плюнь на разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, уймутся. Если б чуть

сходилось по срокам, наверно, и Лиза покатила бы на нее, подозревая, не Максим ли там был. А может, и теперь задумывалась, подсчитывала — кто ее знает? Катерина вон, жена Нестора, не на шутку косилась, дурила про себя, а не подходить же к ней, не объяснять — мол, успокойся, твой Нестор тут ни при чем.

Не всякий поверил Настениной сказке про уполномоченного — так, пожалуй, и должно быть, но Настене от этой отговорки легче не становилось. Бабы — ладно, с бабами обойдется, она знала, что не виновата пред ними — той хотя бы виной, которую они примеряли к ней, поэтому смотрела на них без стыда; куда хуже было, когда намекали на что-то близкое к правде. Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая головой, в первую же встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

— Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?

И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет ли что ненароком.

— Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович,— как всегда в последнее время настырничая с ним, не давая ему спуску, ответила Настена.— А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет походить.

— Тьфу, язва!— сплюнул он и пригрозил, отходя:— Нич-че, выясним, на кого он будет походить.

Вот это уже выходило пострашней, и что тут делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать, не в силах была задуматься и что-то решить: как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла.

Все кругом стало немило, все казалось чужим, направленным против нее, высматривающим каждый ее шаг, подслушивающим каждую мысль. Она шевелилась, чтобы не застыть, не обмереть окончательно, выходила на работу, говорила какие-то слова, когда спрашивали, но о чем говорила, какую работу исполняла, где была, сразу же забывала. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера — заблудилась, закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле,— Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидяще и замаянно. И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то верилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, омутная заверть. Хватит — сколько можно?!

Она не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька и доложила:

— Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят... Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого, пузо-то наро́стила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром.

— Где бы я его взяла, своего-то? — заставила она себя хмыкнуть.— Четыре-то года, однако, много будет для пуза?

— Это Иннокентий Иванович догадки все строит. От него, мне кажется, пошло,— объяснила Надька.— Неймется ему, старому хрычу. Сам-то для бабы бесполезный человек — вот и мутит народ, придумывает что поинтересней.

— От своего — так от своего,— согласилась Настена, чтобы показать: говорите что хотите, не жалко.

Уже после разговора ее пробрал страх: а ведь дотянется, ушлятина, дотянется. Другого такого Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока не выйдет на прямую дорожку: раз уж запало ему — не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему: мол, скоро в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них всерьез. Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу... какую кашу... к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было вовсе,— она уж и не знала, чего хотела!— все равно на ребенка после этого падет слава, от которой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему — бегляк с войны. И ничем эту славу не вытравить — так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рожден от самого дьявола, он поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет сотню доказательств: от него, от нечистого. Стало быть, и ребенок родится на стыд, с которым не разлучаться ему всю жизнь. И тут не выйдет, как хотели,— ничего не выйдет. И грех родительский достанется ему, суровый, истошный грех,— куда с ним деваться?! И не простит, проклянет он их — поделом.

Темно; до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов — только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли еще, не умерк ли робкий огонек бакена — то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух — дух размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзывов; и чудится, что вот-вот

мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть.

Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку — речному, чужому ли, потустороннему,— ко всему настороженная, ко всему готовая. И когда на берегу что-то коротко и сухо стукнуло, будто опустили дерево на дерево, она тотчас поймала этот стук и замерла. И сразу же услышала тот внятный, скребущий шум, с каким сталкивают с галечника лодку. Булькнула потревоженная вода, затем все стихло, но скоро до Настены донеслись мерные, чуть чмокающие чесы одноручного весла.

Сомневаться не приходилось: кто-то плыл за ней. Кто-то скараулил, подождал, пока она отгребла, и тронулся следом. Кто — Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки — Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой, можно было взять любую, та и другая не замыкались. Настена не шевелилась; шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше: если слышит она, услышат и ее. Сплавала, предупредила! Надо возвращаться. Добро бы Михеич — не так страшно, а вдруг не он? Кто б это ни был, воду ему она уже показала.

Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было неблизко, но ниже далеко в Ангару выдавалась релка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до релки — и греби без боязни, только не стучи. Аккуратные, едва различимые всплески весла поравнялись с Настеной и прошли мимо; снова там затаились, ожидая, чтобы Настена выдала себя, и снова, не дождавшись, тронулись дальше.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Перед утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу. Сейчас бы не сторожиться, а, наоборот, застучать, загреметь, чтобы знал он, тот, кто гоняется за ней, что она и не собиралась переплывать Ангару, а всего-навсего с бессонья вздумала прокатиться под своим берегом, развеять грусть-тоску. Устала она, от всего устала. Измоталась. Скорей бы конец: любой конец лучше такой жизни. Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила: выдала Ангару.

Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода —

может, к белому дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь. Тяжелая, недобрая ночь — в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, ноет, жалуясь и плача без капли надежды.

Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. Господи, куда попала?! Куда попала?! К утопленникам! От ужаса ее продрал мороз, ноги обмякли и не слушались. Ползком Настена выбралась из обвалившейся могилы и покатилась вниз, к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого места. Кладбище это развел за лето Мишка-батрак, еще в начале войны прибившийся к Атамановке из детдома мальчишка, вымахавший с тех пор почти во взрослого парня.

Нынче, как никогда, много несло утопленников. Отчего? Война кончилась, надежды стало больше — или жизнь сделала слишком крутой крен, и не все удержались на повороте, слабые попадали в Ангару? Кто знает... Мишка-батрак, которому дали прозвище за то, что пробавлялся он попервости в работниках, не брезговал вылавливать их и хоронить, получая от сельсовета за каждую могилу по десять рублей. Заработок этот ему понравился, целыми днями Мишка-батрак пропадал на реке, высматривая цепкими ястребиными глазами добычу, и зарыл на нижней поскотине уже четверых — зарыл как попало, без усердия, лишь бы колхоз заверил справку, что зарыт, по которой сельсовет выплачивал деньги.

И всю дорогу, пока Настена заталкивалась, ее трясло. Ведь помнила же, помнила, днем за версту обходила, боялась взглянуть в ту сторону, а ночью полезла. Прямо в могилу завалилась — что ж это такое?! И, ахая, содрогаясь от страха и омерзения, уже боялась за себя: заляпалась. И мыла, мыла потом руки, которыми хваталась за глинистую, липкую могильную землю, и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи.

Но она не забыла проверить: тот, кто плыл за ней, взял лодку Агафьи Сомовой.

22

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька — ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ве-

дала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же... Всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит собираемое сено и густым, едким дурманом пахнет урожайное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов — любила все от начала и до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится — где ей быть, с кем жить, на кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой — и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа гробит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желанное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела — и не болела уже, а истягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри — там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась,— угрюмо кляла она себя и теряла мысль.— Так тебе и надо».

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала — и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

— Тронулась ты, че ли? — прикрикнула на нее Надька.— Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила — почему не спросить?

— К мужику своему хотела пробраться, да раздумала,— ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

— Тронулась,— решила Надька.— Ну и черт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь — не щененка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

— Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали. Тут у них Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

— Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться.— И выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич:— И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас...

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все — выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила — ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя

кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться — не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал — что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налогопоставки. Атамановка — его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал — что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее — она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи — ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали,— но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Оделась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен — неизвестно.

Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётом убегать от беды?

Настена гребла и с покорным, смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила... Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой

задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чуют? Слабенькие сегодня звездочки — куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными, праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса — тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй... И подтягивает третий....

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

— Вон она, вон!— кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей.— Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

— Вторую лодку сталкивай,— это уже голос Иннокентия Ивановича.— Скорей — чего телишься!

— Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно наконец, желанное, заработанное мучениями счастье,— почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно... всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?.. Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее...

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было темью...

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно.

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки,— в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск — чистый, ласковый и подталкивающий, в нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее

морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

— Настена, не смей! Насте-е-о-на! — услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина — последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их — и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе; но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко — в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельшерица.— И учила Нинку:— Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди,

а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее — откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто — чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела — покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил:

— Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

— Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал мать по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

— Мать,— тормошил Михаил.— Варвара приехала, погляди.

— Матушка,— старалась Варвара.— Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитрая, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером на счастливо подгадавшем пароходе, который ходит только два раза в неделю, приехали городские — Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей

грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращились старухи и ребятишки, старухи крестились.

Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

— Матушка-то наша... Матушка-а-а!

— Погоди ты,— опять остановил ее Михаил.— Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михаилова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула.

— Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

— Жива,— с облегчением выдохнула она.— Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывать, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце к старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты. Нинкин рев заглушил плач Варвары, и Варваре пришлось умолкнуть. Она вздохнула:

— Ах матушка ты наша, матушка.

— Зеркало,— вспомнила она.— Дайте зеркало.

Надя спросила, куда подавать на стол — сюда, в комнату, или на кухню. Решили, что лучше в кухню — чтобы не тревожить мать. Михаил принес бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

— Татьяна наша сегодня уж не приедет,— сказал он.— Ждать не будем.

— Сегодня не на чем больше, ага,— согласился Илья.— Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут — ага.

— Или в городе.

— Завтра будет.

— Завтра обязательно.

— Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

— Давайте. За встречу надо.

— А чокаться-то можно ли? — испугалась Варвара.

— Можно, можно, мы не на поминках.

— Не говорите так.

— А, теперь говори, не говори...

— Давно мы вот так все вместе не сидели,— с взволнованной грустью сказала вдруг Люся.— Татьяны только нет. Приедет Татьяна, будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

— Где уж там — не уезжали!— стал обижаться Михаил.— Уехали, и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

— Варваре тут рядом.

— А вам прямо из Москвы ехать,— поддела Варвара.— День на пароходе — и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

— Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить,— разволновалась Люся.— При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Че с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть у Варвары не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

— Давно не была — чего там!— поддержал Варвару Михаил.— У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был — когда с севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся?

Илья помнил, кивнул.

— Не могла, вот и не приезжала,— обиженно сказала Люся.

— Захотела, смогла бы,— не поверила Варвара.

— Что значит — смогла бы, если я говорю, не могла? С моим здоровьем, если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

— У Егорки всегда отговорки.

— При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

— А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

— Ладно вам,— сказал Михаил.— Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

— Поди, хватит,— предупредила Варвара.— Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

— Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя — не маленькие.

— Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, выглядела она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и небыстрой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны для них еще не было — поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и, хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на севере, волосы у него сильно повылезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки: брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела — даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе бог не дал.

У Михаила — не то что у Ильи — волосы по-цыгански густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта больше от солнца да от мороза — летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке — круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только

Татьяны. У Михаила с Ильей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали — сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить,— говорил Михаил.— Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

— Он где? — спросил Илья.

— В армии. Второй год уж доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его как командира наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.

— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай,— посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

— Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

— Подождите уж немножко, — сказала Люся.

— Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так. На похороны должны отпустить.

— Ой-ёй-ёшеньки,— вздохнула Варвара.— Не думали, не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

— Сколько тебе их надо?— хмыкнул Илья.

Варвара обиделась:

— Ты прямо как неродной! Все с подковырочкой. Все хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

— Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?

— Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

— У вас швейная машинка есть?

— Есть, только я не знаю, шьет ли она. Давно уже не открывала.

— Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья,— объяснила Люся.— Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было только скроила. Придется здесь.

— Не успеете сегодня.

— Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

— Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его — чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожила,— всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегорожена всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михаилова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане; баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа, и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, сказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

— Ложись,— сказала Люся Наде.— Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила — все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило? — Люся не ответила, шила. — На похороны, че ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А че я такого сказала?

— Ничего.

— Шей, я тебе ниче не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще.

Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась:

— Че это он кричит?

— Не знаю. Сигналы кому-то подает.

— Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

— Пойду. Ты долго здесь будешь?

— Пока не сошью.

— Не надо было нам сегодня ложиться, ох, не надо было,— покачала головой Варвара.— Сидели бы, разговаривали — все веселей. Чует мое сердце: не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стене.

— Что? — спросила Люся.

— Или уж мне кажется, или правда. Иди посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом дыхание Варвары: и-а, и-а, и-а. Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

— Ты ложись,— жалея сестру, сказала Люся.— Я, пока шью, буду смотреть, потом разбужу тебя.

— Да разве я усну?— по-ребячьи захныкала Варвара.— Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

— Сиди, если хочешь.

— Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет?— спросила она.

— А что?

— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

— А что, твоей девке носить нечего?

— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

— В черном-то какой же форс?

— Она у меня непривередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

— Уезжать буду, отдам.

— Я так и скажу: от тетки,— обрадовалась Варвара.

— Говори как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михаиловой половине. Варвара насторожилась:

— Кто бы это?— Потом, когда храп окреп, рассердилась:— Бессовестный какой. Нашел время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется.— Она умолкла и вдруг жалостно попросила:— Пойдем еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось уступить ей свою кровать, а самой ложиться на раскладушку — иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, моросящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услыхав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиного голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсажаясь, кричала недоеная корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он

даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей в избе, кроме входной, не было, а был только дверной проем — в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухиного лица она не увидала, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то — живое или уже мертвое — находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же, заходила то с одного боку, то с другого. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

— Сшила она вчера, нет?

— Сшила,— так же шепотом ответила Варвара.— По мелочи только кой-чего не успела.— И не выдержала больше, взмолилась:— Пойдем разбудим ее. Прямо не могу.

— Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теребить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчка отъехала в сторону.

— Что?— спрашивала Люся.— Что?

Варвара приготовилась плакать:

— Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

— Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял:

— Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володьке отбить.

— Ты что?!— остановила его Надя.— Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

— Жива.

— Живая?!— Михаил повернулся к Варваре, вскипел:— Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

— Тише!— потребовала Люся.— Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села заметывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая.

Он заворчал: — Живая — так зачем будишь?

— Сказать тебе хотела, обрадовать.

— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

— Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Наутро Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

— Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уже забыла, что они еще на свете есть — сто лет не ела. Даже не верится.

— Рыжики — это ага,— причмокнул Илья.— Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще бы что-нибудь — это ага!

— Чего ж ты их вчера-то не поставила,— упрекнул Михаил

Надю.— К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать — вроде ниче. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?

— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала, и то где поближе.

— У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать,— вспомнила Люся.— Все места знала. Я с ней как-то пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» — «Здесь».— «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» — «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня. Так, поодиночке, и домой вернулись: она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

— А она до конца никогда не выбирала,— объяснил Михаил.— Если маленький — оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать, что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал,— ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать — быстрей, они все больше гнездами растут.

— Лучше всех у нас Илья грибы собирал,— засмеялась Люся.— Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

— Было, ага,— с удовольствием признался Илья.

— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем,— даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки...

— На Еловик,— подсказал Михаил.

— На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду...

— Пауты, поди, а не пауки,— буркнула Варвара.— Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

— Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове: сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

— Лиственничник.

— Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем — кусты лежат на земле от ягоды! Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час — и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

— Не-е-ет, что вы!— махнула рукой Надя.— Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только поесть когда, и то ходишь, ходишь...

— Ой как жалко!

— А сколько было синей ягоды на вышке! Тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

— Что ж вы это так?

— Кто их знает? Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось — с кустами, с листьями — с листьями унесут.

— Ну, рыжики-то, говорите, есть?

— Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

— Надо хоть за рыжиками сходить.

— По рыжики-то сходить — можно было, поди, без телеграммы сюда приехать,— кольнула Варвара.

Люсю это разозлило.

— С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не так, все не по тебе. Нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Не забывай, пожалуйста, мы тоже достаточно взрослые и, наверное, понимаем, что делаем. Что это такое, в конце концов?!

— Да никто ниче и не говорит, я не знаю, че ты на меня взбеленилась.

— Я же еще и взбеленилась!

— Я ли че ли?

— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная она невкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

— Татьяна должна подъехать. Соберемся.

— К обеду должна, ага.

— Если из района, может, и раньше.

— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала,— заранее пожаловалась Варвара.

— Нет, Татьяна обязательно зайдет,— сказал Михаил.— Татьяна у нас простая.

— Была простая, а теперь еще надо поглядеть какая,— стояла на своем Варвара.— Сколько дома не была.

— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела.

Люся бессильно покачала головой:

— С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

— Не любите, когда правду-то говорят.

— Вот видите.— Люся поднялась из-за стола, поблагодарила:— Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

— Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

— Нет, для меня немало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

— От рыжиков поносу не будет,— примирительно сказала Варвара.— Они для брюха невредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали.— Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев:—Че это она?

— Кто ее знает.

— Прямо ниче и сказать нельзя.

— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так,— посмеиваясь, посоветовал Илья.

— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась — че же нам теперь, и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся в даль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе перед глазами мужиков без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норовя зайти сзади. Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

— Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась:

— Курицы склюют.

— Я тебе покажу — курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу — ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу — было спокойно, ровно, с редкими, привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот выдавшийся от часу между утром и обедом покой смирял и шумы и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

— Видать, невредная у нас все же мать была,— сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной.— И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

— Погода установилась, ага,— отозвался Илья.

— Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

— Водку, что ли?

— Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай бог болит.— При воспоминании о похмелье Михаила передернуло.— Как чумной весь день ходишь.

— Все равно для женщин взять придется.

— Немножко возьмем, и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

— Кругом равноправия требуют?

— Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

— Сколько водки будем брать?

— Так не знаю,— пожал плечами Михаил.— Ящик, однако, надо. Меньше и делать нечего. Полдеревни придет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

— Ящик возьмем, ага.

— У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

— Пятьдесят рублей есть.

— Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

— У сестер брать будем?

— У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай дает. Тоже родная дочь, не приемная — как ее будешь отделять? Еще обидится.

— Сейчас сразу пойдем?

— А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул — и все, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя.— Михаил первый поднялся, не прерываясь раскинул:— Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножко остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

— Ну вот,— сказал Михаил.— Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидал, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

— Она сама-а,— тянула Нинка.

— Что сама? Что?— тормошила девчонку Люся.

— Это не я-а. Она сама-а...

— Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

— Она сама глаза открыла и сама меня увидала...

— Ну и что?

— Сама ее увидала,— передразнила Нинку Надя.— А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала!— выкрикнула Нинка.— Ты не видала и не говори.

— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

— Подожди, Надя,— остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке:— Куда она тебе показала?

— Куда... куда... Под кровать.

Надя объяснила:

— Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

— А как она тебе показала? — продолжала допытываться Люся.— Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

— Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глаза открыла и тоже начала смотреть. И показала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Не говорила.

— Ой-ёшеньки,— тяжело вздохнула Варвара.— Че ж это будет-то?

— Она у нас вообще-то не пакостливая,— вступился за Нинку Михаил.— Никогда не замечали. Может, на мать, правда, озаренье какое перед смертью нашло. А Нинка тут подвернулась.

Упоминание о смерти заставило их насторожиться, присмиреть, даже задышали с опаской, словно воздух уже был отравлен въедливой потусторонней затхлостью, пускать которую живым в себя нельзя. Потом тихонько придвинулись к старухиной кровати, стараясь найти в матери перемены, и не нашли: теперь, когда свет стал богаче, чем утром, лицо старухи казалось еще мертвее, но сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская ее оторваться от людей.

Михаил вышел на улицу к Илье, который все это время забавлялся тем, что крошил курицам хлеб, и рассказал:

— Нинка говорит, мать-то наша глаза открывала.

— Смотри-ка ты!— удивился Илья, отпугивая ногой петуха.— Чего это она?

— Не знаю.

— А жива?

— Живая. Смотрели.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи — день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте — только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное по сравнению с этим казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать, Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился — сло-

ва выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпускало, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них — не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

— Скажи все же, а,— начал опять разговор Михаил.— Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе,— подтвердил Илья.— Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай не думай...

— Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя видать.— Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал.— Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот, умри она, ребяты сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить — выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

— Мужики, идите скорей. Скорее.

— Что там такое?

— Мать...

Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое — не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало — видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все

прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти — казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить — казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула веки, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула — нет, они не пропали, она увидала их ближе и признала — этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и она от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как бы отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла: плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

— Лю-ся,— с усилием выговорила она.— Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь,— удержала ее Люся.— Лежи. Мы здесь.

— Матушка-а!— зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже. И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

— Таньчора,— с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

— Еще не приехала.

— Вот-вот будет.

— Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли — надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных — она узнавала их и, успокаиваясь, старалась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как

будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

— Ты бы сварила мне кашу... ту, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

— Манную, что ли?

— Ну-ну, ее. Маленько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку, Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?

— Родова,— соглашался Михаил.— Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

— Кашу, говорит, хочу — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот заприме่ть. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья удивленно настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите,— говорит,— добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась».— Он смеялся и повторял:— «Каши,— говорит,— еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела,— более сдержанно отвечал Михаил.— Оно конечно: столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашу в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бегала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

— Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными

глотками, отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего,— сказала Люся.— Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался,— с горькой радостью повторила старуха.— Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-ехали с орехами.— Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит.— А я-то, бесстыжая, омманула его, назадь повернула, а тепери над им же и изгаляюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

— Молчать, ли че ли, буду?— куражливо ответила старуха.— В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком?— Они все были тут, возле нее, она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее, сохраняя силы, продолжала:— Меня будто в бок кто толкнул: ребяты приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру — боле мине ниче-о не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни — потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидела солнце и, узнав его, обрадовалась;

после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой,— тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

— Господи,— прошептала старуха.— Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, побойчел, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться — видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой: его зовут или не его, и кто зовет, откуда? Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне... Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья — нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

У Ильи и в самом деле было веселое лицо. Он все еще не мог прийти в себя от удивления, что старуха жива, и с удовольствием смеялся над собой, над Михаилом, над сестрами: «Как она нас, как?! Ай да мать, ай да молодчина!» Еще перед обедом они все были уверены, что старуха мучится умирая, а она мучилась, чтобы выжить. Больше всего Илья смеялся над собой: вчера, отпрашиваясь с работы, он так и объявил в гараже: еду хоронить мать,

нисколько не сомневаясь, что для того и едет. Что же он скажет им теперь? Фокус, да и только. Илья готов был поверить, что мать схитрила, нарочно прикинулась умирающей, чтобы собрать их всех возле себя, и хотя он знал, что это чепуха, которую придумал он сам, все же не торопился ее отбросить, покатывал ее в себе, потрагивал, заигрывал с ней, как кошка с мышкой. То, что старуха сама попросила кашу и совсем как ребенок, только что не из соски, заново училась ее есть, и забавляло и трогало Илью до гордости, и он с любопытством поглядывал на мать: интересно, что она выкинет еще?

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь»,— потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула — словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула — потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей-то самой больше ничего не надо, все осталось позади — что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку стариков: первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать — только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ребят — нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать...

Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными. Вчера был Михаил, и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на север с волосами, приехал без волос — тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолсте-

ла, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят — скребут. Старуха понимала.

На Люсю она только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осторожно, с украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видела в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому — старуха не знала. Ей уже поздно отказываться от своих привычек — и умрет она как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее — что может рассердить дочь.

Она все смотрела и смотрела на них — жадно, торопливо, неловко — и никак не могла насмотреться, все ей было мало.

— Ты успокойся, мама,— сказала Люся.— Успокойся и отдохни.

— Приехали.— Старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

— Приехали, мать, приехали,— бодро ответил за всех Илья.— Все в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотом оборвала его:

— Не кричи ты громко. Не видишь, че ли?

— Приехали,— успокаиваясь, повторила старуха в себя.— Дождалася.— Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немоло-

дые, много лет знакомые люди, со вниманием помолчала и, все так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила:— А я пробудилася и ниче понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те, господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ниче и не знала.— Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу.— Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету... Лежу и думаю: «Не иначе как человеку уж после, как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, че он от себя оставил, об чем его сердце болело».

— Ну, мать, молодец ты у нас,— с веселым удивлением покачал головой Илья.— Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь.

— И правда, мама, не говори много, тебе нельзя,— опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

— Да нет, пускай говорит, если может. Я только к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке — ага.

— Это все вы,— просто объяснила старуха.— Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назадь. Мертвая не мертвая, а назадь, сюды к вам воротилась.— Голос ее тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова.— Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

— Интересно ты, мать, рассуждаешь.

— У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Че тут говореть! Да ишо если столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет. От и сичас. Погодите.

Отдыхая, она долго смотрела на стену, где держалось солнце; после дневной белой кипени оно стало мягче и отчетливей. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, который старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Казалось, она забыла и про себя, и про своих ребят, ничего не чувствовала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые

глаза и не отпускало их своей властью — все равно жила, и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо — они ждали мать, как она им велела, стараясь не смотреть друг на друга.

— Меня и тепери ишо на руках будто кто держит,— сказала она, не обращаясь к ним.— Будто ниче под мной твердого нету. А не страшно — будто так и надо.

Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую, теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

— Вы-то когда приехали?

— Мы с Ильей вчера вечером.

Старуха сказала не сразу, подождала:

— Гостинцы мне никакие не привезли?

— Мы ведь торопились, мама, некогда было,— неловко замешкавшись, ответила Люся.— Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.

— Я ить не себе,— сказала старуха.— Мне ниче-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моёй.— Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась.— В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уже разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, че там лежит». Я ей говорю: «Ниче там не лежит»,— а она опеть. Я вроде ниче не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, всё с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

— Я утром схожу в магазин, куплю чего-нибудь,— пообещала Люся.

— Да не надо ей ничего,— застеснялась Надя.— Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

— Сходи, сходи,— сказала старуха.— Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее.

Люся вспомнила:

— Я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?

— Эти ягодки-то зеленые?

— Да. Виноград называется.

— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз нравится.

А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ниче-о· не надо. Мне бог вишь какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала — бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем — и умолкла, вытерла сухие глаза.

— Ничего, мама, ничего,— сказала Люся.— Теперь поправляйся, и все будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. Хорошо еще, что на этот раз она молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия — она и глаза не отняла от стены,— сказала:

— А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой — я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу — не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери — не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

— А кто скажет, моить, оне потом ишо сколько да-нить слышат,— добавила старуха.— Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

— Ты о чем это там, мать?— громко спросил Илья.— О чем говоришь-то?

— Об чем?— Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась.— Я ить от радости, что вижу вас, не знаю, че и сказать. Болтаю че-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

— Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь — на руках унесем. Тебя есть кому на руках таскать.

— Попей еще.— Люся подала матери кружку с кашей.— Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

— Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.

— Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.

— Ой, да в меня боле не полезет.

— Ничего, ничего, полезет.

— Мне только бы Таньчору дождаться,— жалобно сказала старуха.— Че от она так долго не едет? А ну как че стряслось?

— Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

— Никто пока и не собирается уезжать.

— Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась, долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

— Что это еще за «надоедать» да «молчком»? — выговорила старухе Люся.— Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами — пойми, пожалуйста, это.

— Не говори так, матушка,— подхватила Варвара.— Не говори так, а то я заплачу.

Илья тоже не вытерпел:

— Ну, мать, ну, мать...

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как птица какая, и всем рассказала бы... Господи...

День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось, чутко повторяло мать: заговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось в них с ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее,— похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна сели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Странно и непривычно было видеть неоштукатуренные стены, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей по-прежнему болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала: вырастал из нее один — ложился другой.

По обе стороны от окна над столом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии — с приветами из тех мест, где служили: Илья за рулем машины на севере; Варвара со своим мужиком — он и она с одинаково вылупленными глазами и с каменной прямотой стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше — будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть — отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе — везде выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

— Михаил, иди-ка сюда.

— Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

— Посмотри-ка, Михаил,— показала Люся, пружиня голос.

— Куда?

— Вот сюда, сюда.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у нас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

— Что ты меня стыдишь? Я что тебе — простынями заведую?

— Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то нетрудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

— Люся! Люся! — останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: — Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говореть — о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину,— без рук останешься.

— Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

— Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

— Ишо не лучше! Зачем, говорит.— Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела:— Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, че там она подо мной увидала, неужли я че наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.

— Зато твой сын должен помнить и о себе и о тебе,— упрямо стояла на своем Люся.— На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, возле которой она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

— Дались тебе эти простыни.

— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала,— покачала головой старуха.— Она тут невиноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

— Но ведь я ей ничего и не говорила.

— Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

— Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, че и сказать.

— Не знаешь — молчи,— хмыкнул Илья.— Гляди, беда какая!

— А я тебе ниче и не говорю.

— Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

— Нет как будто,— ответил Михаил.

— Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю — и веселей. Прибежит, это она прибежит,— кивала старуха.— Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

— Нет, вроде на заложке.

— Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегат, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды... отбегалась.

— Мать,— перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу.— Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?

— Ну, мужики, ну, мужики,— встрепенулась Варвара.— Вы без этого прямо жить не можете.

— Не можем — ага,— согласился Илья, широко улыбаясь.

— Да пейте, когда уж вам так охота,— позволила старуха.— Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

— Это — пожалуйста, мы можем и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтоб ты больше не хворала — ага.

— Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

— Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу...

— За ее и есть. И че оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А они ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, вы бы и послушались... Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился:

— Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

— А я никогда здря не говорю.

— Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

— На Надю я пожалиться не могу,— продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной.— От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне че плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного раза на меня голос не подняла. Если не было, че я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась — что есть она, что нету, званье одно.

— Укрываться надо лучше,— со знанием дела посоветовала Варвара.

— Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды — будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала — че тут говореть. Он трезвый-то — человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

— Как это вяжется? — насторожилась Люся.

— Как... А так. От зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах кой-никак стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин, и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

— Вот оно что,— сдержанно отозвалась Люся.

— Прямо ни стыда ни совести у человека,— возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь.— К родной матушке так относиться— это совсем обнаглеть надо!

— А то придет, он так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чем я с им, с пьяным, буду говорить, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так. Ну. Пристанет — ой-ёй-ёй!

— Я поговорю с ним,— пообещала Люся.— Я с ним поговорю — не обрадуется. Что это, в самом деле, такое?! «Пою, кормлю...» Этого еще не хватало.

— Ты только с им, с пьяным, не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится — опеть ниче. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

— Пить не надо,— сказала Варвара.

Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

— Дак а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, все мало.

— Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился,— не переставала удивляться Люся.

— Докатился, докатился,— поддакнула Варвара.— Матушка наша врать не будет.

— Я пошто врать-то буду?— обиделась старуха.— Какая мине нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

— Я и говорю: матушка врать не будет.

— А вот терпеть матушка почему-то терпит,— в тон ей сказала Люся.— Он над ней издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится — опеть ниче»,— передразнила она.— Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из дому выгонит.

— Он меня не выгонял — че здря говореть.

— Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

— У нас никто в родове мать из дому не гнал.

— У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

— Никто, никто,— согласилась Варвара.— Сколько я на свете живу — никто. Он один.

— Вы от сердитесь,— помолчав, тихонько начала старуха.— Сердитесь, а пожили бы со мной. Это ить чистое наказание — рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то кашель возьмет — белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чишше? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрешь. Он трезвый-то терпит, ниче не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: че уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел.— Отдохнув, старуха заговорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она свободно вздохнула и попросила:—Не надо ему ниче говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думали? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру,

сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь наш род. И я тут буду, никуда отсюда не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидали, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжелые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет — и не слыхать, будто уснет с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

— Убралась, ли че ли? — спросила старуха, принимая Надю для разговора.

— Убралась. Корову потом выгоню, и все.

— Мужиков не видала?

— В бане они.

— Только бы не напились.

— При гостях, может, утерпит.

— Дак он не один. Гость-то там при ем.

Надя наконец сказала, зачем пришла:

— Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уже все готово.

— Садитесь здесь,— отозвалась старуха.— Че я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.

— Тогда я свет включу.

— Дак включай, кто тебе не велит. В потемках какая еда?

— Мужиков звать надо, нет ли?

— Они у тебя рази нечистым духом сытые?— не насмешничая, ответила старуха.— Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут не будут, пускай сами скажут.

— Я думала, может, потом им.

— А че ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.

— Давай, Надя, я помогу тебе,— вызвалась Люся, видно, ей все-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.

— Сидите, сидите, я сама. Я еще подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.

Люся осталась.

Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что они братья: куда денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели шеи. У Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскаленной.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

— Ну как, мать, у тебя тут дела?

— А что дела? — ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать вдвоем.— Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь.— Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

— Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся — ага. Свет не без добрых людей.

— Вот именно,— хохотнул Михаил.

— А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал,— вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

— Что такое?

— «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твое»,— вспомнил Илья детскую скороговорку, еще ничего не понимая и все же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

— Бесстыжий! — снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

— Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала.— Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза.— То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе над ней издеваться.

— Да вы что — белены объелись?! Кто над ней издевается?

— Ты-ы.

— Я?! Что я с ней, интересно, делаю? Говори, говори, раз начала.

— Люся, Люся,— взмолилась старуха.— Ты пошто такая-то? Я ить тебя христом-богом просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

— Нет, пускай она скажет.

— Хорошо, мама, сейчас не будем,— неохотно уступила Люся.— Но запомни, Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

— Ты посмотри на них,— обращаясь к Илье, пожаловался Михаил.— Набросились. Родные сестры называется. Ничего себе.

— Мы с тобой попозже об этом поговорим,— пообещала Люся.

— Не пугай, никто тебя не боится.

— Ты, Михаил, мать не обижай,— сказал Илья.— Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

— Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

— Мать нам жизнь дала.

— Это ты очень даже правильно говоришь.— Михаил смахнул пьяные слезы.— Я ведь все понимаю. Я больше ихнего понимаю.—

Он кивнул на сестер.— Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я понима-а-ю.

— Ты хоть думаешь, о чем ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? — вскинулась Люся.— Как тебе только не стыдно?!

— Так, Михаил, тоже нельзя,— опять поправил Илья.

— Если нельзя, не буду,— согласился Михаил.— Ты старше меня, я тебя уважать должон.

— Дело не в этом.

— Я понимаю: дело не в этом.

Пришла Надя, стала разливать суп. Все равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся. Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

— Неужели у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Че делают?! Че делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть — очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет. Наконец окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своем месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберется больше, и, не выпуская из виду Люсю — спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог подумать — вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам

так легче было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались — до того она их надергала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и опустила под них край одеяла — вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них еще достает.

Солнце по утрам не попадало в избу, но, когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидала, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:

— Господи...

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкнет подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять все стихло, но старуха знала, что теперь изба — как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит, заговорит.

И верно, кто-то зашлепал — Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать — так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее. Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

— Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.

— И спи, и спи,— счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло.— Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда,— скоро зима. Здесь ты, как у христа за пазухой, сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенька ты моя! Как большая, все понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старуха прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто из хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее. Что это за корова, если она не стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надрывать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни ее корову было не слыхать, будто они враз та и другая не дождались сегодняшнего дня. А ну как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живет, никто не досмотрит.

Старуха тянула голову, чтобы увидать Миронихину дверь, но глаза доставали только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от ее голоса.

— Сидишь, че ли? — не ждала Варвара.

Испуг у старухи прошел, она похвалилась:

— Дак видишь, сидю.

— А тебе сидеть-то можно ли?

— У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сижу.— Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для нее значит сидеть.

— Смотри не упади.

— Не присбирывай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сижу.

— Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

— Никто меня не сгонял, не говори здря. Я ишо до ее сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались, будто на них кто ночевал. Зевая, она сказала:

— Че-то во сне видала, а че, заспала, не помню. Че-то нехорошее.

— Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

— Проснулась и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли че.

— Нет покуль.— Старуха забеспокоилась:— Ты соберешься — сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли че доспелось? Одна ить как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

— С чего она помрет-то?

— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли че ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей седня не кричала. Я уж надсадилась слушать — нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, а седни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды...

— Налажусь — схожу.

— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, еще при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

— Разбудили мы тебя со своим разговором,— виновато ска-

зала старуха.— Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтоб тихонько ходили.

— Я выспалась.— У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости.— Я сегодня хорошо спала.

— Ниче во сне не видала?

— Нет.

— А Варваре, говорит, че-то нехорошее являлось, а че, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе сходила — а ну как сон про ее? А тут Таньчоры все нету и нету. Я уж боюсь про ее и думать.

— Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну, как все уснут, а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ем кряхтело, видать, немаленько же они его вечор выпили. Ну, угомонились, слава те, господи. Опеть я одна. Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чем я только не передумала! И с мамкой со своей поговорела, сказалась, что вскорости буду. И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. Только бы она седни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это бог мне за-ради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету — есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать: за ночь она намолчалась.

— Я уж не чаяла утра дождаться — ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ниче не знаю. Дак нет, люди-то спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться — какой с их спрос? Я не даю им, боюсь, ну как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

— Сегодня села, завтра встанешь,— убирая после себя постель, терпеливо сказала Люся.— Встанешь и пойдешь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живешь.

— Чужой и есть,— повторила свое старуха.

Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая

себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и веселил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, чем он есть, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки. И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы все хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, еще с порога она закричала — будто принесла бог знает какую радость:

— Вспомнила, матушка, вспомнила.

— Че вспомнила?

— Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон — так оно и есть. Я как знала.

— Ну-ну? — заторопила старуха.

— Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, че мы в начинку-то в них кладем?

— Откуль я знаю — че ты меня спрашиваешь?

— Грязь.

— Че кладете?

— Грязь. Под ногами у нас грязь, мы ее вместо мяса и берем. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с грязью будут. Прямо смеемся от радости. А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берете, какие у нас так пельмени выйдут? Никакого навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня всю дрожью обдает.

— А дальше-то че-нить было, нет?

— Нет, больше ниче не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший.— Варвара испуганно качала головой, спрашивала: — К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы и спать не ложилась, чтоб мне не видать его. А теперь вот че делать?

— Ты свои сны лучше бы при себе держала,— посоветовала ей Люся.

— Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

— Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет, а тут еще ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после нее до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

— Притвори ее,— попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

— Че ни скажи, все не так, все не так. Ой-ёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара, больше никто. Теперь уж у нее и во сне смотреть нет права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне че, теперь и не спать совсем?

— А ты не все слушай, че тебе говорят.

— Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша?— пожалела ее старуха и, вспомнив, перебила себя:— Я тебе сказала к Миронихе-то сходить, ты сходила к ней, нет?

— Нет еще.

— Дак ты пошто не сходишь-то?

— Счас пойду.

— Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдет. Не доспелось ли с ей че? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить ее уж сколь не видала.— Варвара пошлепала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку:— Да дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу — теперь спина была сверху и вроде притихла.

Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным — недолго было и нырнуть — и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

В окошко забарабанили, Варвара с улицы кричала:

— Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома. Надя говорит, она утром на нижний край убежала.

— Ну-ну,— поняла старуха и, помолчав, сказала себе: — Опеть куды-то и ухлестала. Ой, в кого она только такая бегучая?

— Ты сидишь? — спросила Варвара.

— Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволок себя в сени, забренчал там ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живет, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод все

равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

— Землю во сне видать — это, однако, и не к худу совсем,— неуверенно сказала потом она и оглянулась.

День уже целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить — все равно никакого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло — в дождь или в ветер все-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицу от избы, ему все казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем все-таки донесли ему воспоминание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней — скорей всего по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он еще постоял, помедлил; он-то знал точно, что вчера они с Ильей и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всем желании не могли выпить ее полностью, и все-таки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому... В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламье и счастливо сморщился — в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу на него ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине. Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал еще одну бутылку и, торопясь, сунул ее себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла — нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и желанного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, еще как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмельем — вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придет конец. Оттого и не

боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь свое близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы еще посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать сейчас, он знал и без того. Хотел еще зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бутылкой в кармане, к тому же потом легче легкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестер, и не пошел, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала,— в баню, к Илье.

Илья как ни в чем не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залетела в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку — если кто зайдет, всякое может подумать. Не курицы же ее выпили. Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

— Илья! — позвал он. Это было сегодня его первое слово, и без пробы оно вышло нечисто, с хрипом. Вот до чего запеклось все внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос:— Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменилось.

— Вставай, хватит тебе спать.

— Рано же еще,— не открывая глаз и не двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не поднимешь.

— Какой там рано! День уж.

— Чего вам тут не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли ведь черт знает когда.

— Как ты? — не слушая его, спросил Михаил.

— Не знаю еще. Вроде живой.— Илья все-таки открыл глаза.

— А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

— Перестарались вчера — ага.

— Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься — упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

— Мне наутро спать надо — ага. Все подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

— Ишь как!— позавидовал Михаил.— Организм, что ли, другой? Родные братья — вроде не должно бы.

— Ей все равно: братья не братья.

— Но. Это нам еще повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать не поднялся. Я уж себя знаю.

— Мне с красной тоже хуже.

— Покупная, холера, болезнь.

— Что?

— Покупная, говорю, болезнь.— Михаил показал на голову.— Деньги плочены.

— Это точно.

— Я еще лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошел. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьешь ее, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь — не человек. Плюнешь и думаешь: все, может, меньше ее там останется, хоть сколько да выплюнул. Всю жизнь вот так маешься.

— Это анекдот есть такой,— вспомнил Илья.— Мать отправляет свою дочь отца искать — ага. «Иди,— говорит,— в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказываться, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

— Но,— засмеялся Михаил.— Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость.

— Не слыхал этот анекдот?

— Нет, не слыхал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный.— Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чем говорилось, и решил, что больше тянуть нечего.— Так что, Илья,— сказал он и достал из-за курятника бутылку.— Поправиться, однако, надо.

— Ты уж притащил.— Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

— Шел мимо и зашел. Чтобы потом не бегать.

— А может, лучше пока не будем? Подождем?

— Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. Похмелье, оно задавить может. И так уж едва дышу. Придется вам тогда меня вместо матери хоронить.

— Как там мать-то?

— Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.

— Это точно, сказали бы.

— Ну как — наливать, нет? — раскупорил Михаил бутылку.

— Наливай — ладно. За компанию.

— И правильно.

— Закусить-то совсем нечем?

— Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мед пьем.

— Мне-то неловко там шариться.

— А что ты — чужой человек, что ли? Возьмешь что надо — и обратно.

— Ладно, давай так. Сойдет.

— Сойдет, конечно. И пить — помирать, и не пить — помирать, уж лучше пить да помирать,— как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаенным вниманием подождал, пока водка найдет свое место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник.— Они думают, мы тут мед пьем,— прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые все больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

— Ну как? — поинтересовался он.

— Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не протолкнешь. Ее для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кроме того, взяла верх своя привычка — пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях, хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая, настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка́, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на

ней воду — не баня, а одно названье. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то — шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берется, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидал, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась — после улицы ей показалось в бане совсем темно.

— Это ты, че ли? — вгляделась она в Михаила.

— Нет, не я. Исус Христос.

— Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думала, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

— Сидит?

— Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила...

— Голову наверху держит?

— Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо,— упрекнула Варвара.— Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

— С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

— Пойдите сами поглядите. Сидит. Кто бы мог подумать? — Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторяла:— Вот пойдите, пойдите поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

— Так а что глядеть, пускай сидит,— отговорился Михаил.— Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она у вас не упала.

— Нет, нет, она хорошо сидит.

— Мы потом, попозже придем,— пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

— Там Надя дома, нет?

— Дома. Все дома. И Люся, и матушка наша дома.

— И матушка, говоришь, дома?

— Да ну вас!— поняла Варвара.— С вами только свяжись. Пойду я.

— Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской соступила с предамбарника — он был высо-

кий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить — и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидать, как они удивляются матери, которая еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть — ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой нехороший. У кого бы спросить о нем, кто может знать? С Люсей не поговоришь — вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота,— там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил не медля выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ею, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришел сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

— Так что, Илья,— приготовился он.— Вроде дело на поправу пошло. Самое время добавить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй — не догонишь.

— Я без закуски больше не могу,— отказался Илья.— Хоть бы корку какую-нибудь для занюха — ага, и то ладно. А так — это гиблое дело. Раз, два — и готовы. Никакого интереса.

— Может, луковицу в огороде сорвать?

— Луковица нас с тобой не спасет. Это точно. Тут даже соли нету.

— С закуской оно, конечно, надежней,— согласился Михаил и тоскливо помолчал.— Подождем — что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнется опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаю.

— Ты, если хочешь, выпей.

— Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю ее пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж ее изучил.

— С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

— Говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связался, аппетит поимел — не знаю...— Михаил долго качал головой.— Не знаю, Илья, не знаю. Все равно потянет — я так считаю. Большая в ней, холере, сила, попробуй справься. Надорваться можно. Я так и

не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал — чего себя и людей обманывать. Без пользы. Теперь так думаю: хорошее это дело или плохое, а мне от него все равно никуда не деться. И нечего стараться, людей смешить. Оно конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь ее пьем, пока не напьемся, будто это вода.

— Пить надо уметь — это точно.

— Ты-то часто пьешь?

— Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго — ага. И баба у меня с ней никак не контачит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку — тут ли, спросил:

— Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.

— Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

— Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало.— Он и правда, плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость.— Ну вот,— шумно выдохнув, сказал он.— Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

— Ухи сейчас бы неплохо — ага.

— А все почему пьем? — не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья молчал.— Вот говорят, с горя, с того, с другого. Не-ет. Это все дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не все, для этой привычки тоже надо иметь причину. Я так считаю: пьем потому, что теперь такая необходимость появилась— пить. Раньше что было первым делом? Хлеб, вода, соль. А теперь сюда же еще и она, холера, добавилась.— Михаил кивнул на бутылку.— Жизнь теперь совсем другая, все, посчитай, переменилось, а они, эти изменения, у человека добавки потребовали. Мы сильно устаем, и не так, я скажу тебе, от работы, как черт знает от чего. Я вот неделю прожил и уж кое-как ноги таскаю, мне тяжело. А выпил и будто в бане помылся, сто пудов с себя сбросил. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал — стыдно, глаз не поднять. А с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой — лучше. Идешь опять работать, грехи замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. Нет. С одной стороны, теперь легче, а с другой — все труднее и труднее, все подпирает тебя и подпирает.— Михаил махнул рукой.— И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло

сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

— Потребность — это точно,— согласился Илья.— Пьем сразу по способности и по потребности. Сколько войдет.

— А как не пить? — продолжал Михаил.— День, второй, пускай даже неделю — оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Ничего впереди нету, сплошь одно и то же. Сколько веревок нас держит и на работе и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, все должен, должен, должен, и чем дальше, тем больше должен — пропади оно пропадом. А выпил — как на волю попал, освобожденье наступило, и ты уж ни холеры не должен, все сделал, что надо. А что не сделал — не надо было делать, и правильно сделал, что не делал. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, какой дурак? Выпивка, она ведь вначале всегда как праздник. Если бы с ней еще меру знать.

— Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

— Оно конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись — разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное дело, на другой бок пойдет. А все равно мне еще надо, такая у меня натура. Она пока свое не возьмет, ее лучше не удерживай. Она не любит выгадывать, делать только наполовину, ей все надо до отвала, всласть. И работать, и пить. Сам знаешь.

— Сколько у тебя в месяц выходит?

— Чего в месяц? Вина, что ли?

Илья засмеялся:

— Вино ты без бухгалтерии пьешь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок — ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

— Заработок... Когда как, Илья. Заработки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас еще загребают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас поприпридержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполовину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплевывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил — отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины вместо людей, техника.

— Легче с ней, с техникой-то.

— Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся.— Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал:— А все-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там

были тоже не маленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребятишки в котелочках принесут, поели — и опять. Азарт какой-то был, пошел и пошел, давай и давай. Откуда что и бралось! Вроде как чувствовали работу, считали ее за живую, а не так, что лишь бы день оттрубить.

— Тогда ты был помоложе, поздоровей.

— Помоложе-то помоложе... Дело не в этом. Вспомни, как при колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — и плохое, и хорошее. Правда что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка — не Надя. Она огляделась — никого нет, покружила возле поленницы и моментом юркнула за нее. Михаил подождал, пока Нинка сделает свое дело, и высунулся в дверь:

— Нинка, иди-ка сюда.

— Заче-ем? — испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

— Иди-иди, голубушка, тут все узнаешь.

— Я больше не бу-у-ду.

— Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал.

Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

— Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отвалятся, если ты добежишь куда надо?

— Я больше не бу-у-ду.

— «Не бу-у-ду». Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю тебя, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

— Ну, что молчишь?

— Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь,— быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

— Я вот те скажу!— взвился Михаил.— Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая!— пожаловался он Илье.— От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на нее.

— Тогда не дерись.

— Никто с тобой не дерется — помалкивай. Хоть, оно конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

— Ладно, отпусти ты девчонку,— пожалел Нинку Илья.— Она больше не будет.

— Будешь, нет?

— Не буду,— проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазенки сразу забегали по сторонам, схватывая все, что она не успела заметить.

— Ишь, шустрая какая. «Не буду»— и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна принести чего-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.

— Ни холеры ты не поняла.

— Я мамке скажу, она даст.

— Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

— Теперь поняла.

— Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам.— Михаил отставил в сторону вчерашнюю пустую бутылку.

— Да-а,— навострилась Нинка.— Ты дашь, а сам же и отберешь.

— Не отберу, не отберу. Беги.

— А тогда отобрал.

— Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

— Я свидетель,— хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

— Ну, что тебе? Беги скорее.

— Мне две надо,— Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

— Две дам, только беги христа ради.— Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до завтрака. Хлеб — это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и спустила в подоле пять яиц, вместе с подкладышем, который лежал там, на-

верно, с весны и который Михаил по своей привычке глотать все залпом и не смотреть, что глотает, умудрился все-таки после водки проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а все равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он еще плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвертую, еще не допитую. Карауля ее, девчонка не шла из бани. Показываться в избе ей не имело никакого интереса еще и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми невинными глазенками посматривала на мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен: Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу. Потом пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

После водки разговор у мужиков пошел опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за неурочную выпивку и сказал:

— А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем — ага. Сам видишь, она уж села. Того и гляди побежит.

— Это она может,— мотнул головой Михаил.

— Скажи все же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

— Мать у нас еще та фокусница.

— Правда что смерть свою перехитрила.

— А я тебе скажу, Илья: зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю — чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Все равно ведь помрет. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили — вот и пошло.

— Что уж ты так?— возразил Илья.— Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно конечно, требовать с нее не будешь: чтоб сегодня духу твоего здесь не было, и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так

обойдется. И выйдет все в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

— Как же не приехать?

— Всякое может быть. Вот Татьяна и теперь не едет.

— Татьяна — ага. Она как знала, не торопится.

— В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня еще не приедет, мать с ума сойдет. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне ее увидит, то еще как. Ты не живешь тут, не знаешь.

— Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать — я не знаю, как это называется.

— Ну, если приедет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

— Выпьем — ага, куда денемся?

— А и не приедет, все равно выпьем,— нашелся Михаил.— Все равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

— А что теперь делать?— с задумчивой веселостью поддержал его Илья.— Выливать теперь не будешь.

— А кто нам с тобой позволит ее выливать? Это дело государственное. Это дело такое.

— Теперь, хочешь не хочешь, надо пить.

— Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем — почему же не хочешь? Раз надо — выпьем, — настаивал Михаил. — Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

— Можем. Почему не можем?

— Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что водка была рядом, хоть залейся, и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрался. Сначала он зашел в кладовку. Зашел — и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было пристать с ножом к горлу: отдавайте, и все. Водку вчера брали по дру-

гой причине и брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на нее прав больше, на то они и мужики, но это ведь только у трезвых есть права, а у пьяных они, как известно, вечно под сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

— Мамка нехорошая.

— Твою мамку повесить мало,— отозвался еще не остывший от злости Михаил.

— Давай, папка, повесим ее и поглядим.

— У меня-то бы не заржавело, да сильно много чести ей будет.

— А что она тебе сделала?— спросил у Нинки Илья.

— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ниче не видала, а сама говорит, что видала.

— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся,— предупредил Михаил.

— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

— А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.

— Она нехорошая,— набычилась Нинка.

— Ну так что говорить. У меня к ней претензии, может, побольше твоих.

— Они про вас говорят, что вы загуляли. И говорят, что теперь надолго,— докладывала Нинка.— А про тебя, папка, говорят, что ты пьянчужка, больше никто, и что это ты во всем виноват.

— Ишь что при девчонке болтают,— с горькой укоризной покачал головой Михаил.— Никакого понятия: можно, нельзя... А ты не слушай,— потребовал он от Нинки.— Они там наговорят. Кому ты веришь: нам или им?

— Вам.

— То-то. Нас держись, с нами не пропадешь. А их не слушай.

Мужики снова принялись за бутылку. Нинка, приободренная отцом, терлась тут же, брала у него стакан с водкой, нюхала и фыркала, потом нюхала пустой стакан и тоже фыркала, как ровня лезла в разговоры и зорко следила за тем, как убывает в бутылке, подбивая мужиков наливать побольше. Михаил жалел ее, не гнал от себя. И, как вышло, правильно делал.

Нинка спросила:

— Папка, а невылитые бутылки в магазине принимают, нет? Ей пришлось задавать этот вопрос раза три или четыре, потому что Михаил разговаривал с Ильей и ему было не до Нинкиных глупостей.

— Это какие такие невылитые?— оторвался наконец он.

— Ну, которые не выливаются. Я их выливала, а они не выливаются.

— Что ты из них, интересно, выливала?— Михаил говорил еще туда и сюда.

— А вино.

— Какое вино?

— Пускай не говорит на меня, что это я хлеб украла. Не видала и пускай не говорит.

— А какое вино ты выливала?— Михаил нагнулся над Нинкой и держал ее в руках, но держал осторожно, ласково, чтобы не вспугнуть.

— Какое, какое! Такое. В бутылках. Только бутылки никак не открываются.

— Где ты их взяла?— спрашивал Михаил и переглядывался с Ильей.

Нинка и не собиралась ничего скрывать, к отцу у нее было сегодня полное расположение.

— Ты мне сам дал,— рассказывала она.— А у нее я сама взяла. Не будет говорить на меня. Не видала и не говори.

— Так. А где сейчас эти бутылки, которые ты у нее взяла?

— А в муке.

— Где?

— В муке. Они в кладовке спрятанные стояли. Это она их спрятала. Она думала, я не найду, а я вперед ее нашла. Там такая клетка есть, они в клетке стояли. Там еще есть.

— Понятно,— крякнул Михаил.— Все теперь понятно. Не выливаются, говоришь? А ведь вылила бы,— простонал он.—Ты куда их выливала-то? На пол, что ли?— Он спрашивал и хмурился от боли, представляя, как водка, будто какое-нибудь пойло, выплеснутая на пол, впитывается в дерево.

— Нет. Я в муку хотела. Чтоб она мокро не увидала.

Больше Михаил не в силах был играть в жмурки. Грозя Нинке подрагивающим пальцем, он потребовал:

— Чтоб об этих бутылках ни одна душа не узнала. Поняла?

— Поняла?

— Чтоб ни одна душа не узнала,— застряло у Михаила.— Поняла?

— Поняла.

— А то смотри. Скажешь — ой, плохо будет.

— Их невылитые все равно не принимают, — попытался смягчить Михайлову суровость Илья.

— Их и вылитые не принимают. Их выпитые принимают. Поняла?

— Поняла.

— Как это ты быстро все понимаешь? Просто завидки берут —

до чего толковая девка. А теперь иди. Иди-иди,— выпроваживал Нинку отец.— Гуляй. Нечего тебе тут с мужиками сидеть. И на носу заруби, что я тебе сказал. Чтоб ни одна душа. Бутылочница нашлась. В куклы играй, а не в бутылки.

Он закрыл за Нинкой дверь и отдышался:

— А ведь она, холера, и правда понесла бы их сдавать. Умишко-то детский. Невылитые — ишь ты! А там за милу душу приняли бы за те же двенадцать копеек. Полной фактурой и за двенадцать копеек. Им-то что, только давай, подноси. Вот холера так холера. И ведь разыскала. Ну, оторви голова растет. Оторви да выбрось.

Нинка тем временем, оглядываясь, вышла на середину двора, оттуда, с безопасного расстояния, пригрозила в сторону бани:

— Папка нехороший.

И отправилась к матери.

6

С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. После того как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскидывая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей стало намного лучше и уйти от нее можно было безбоязненно.

Идти на гору Люсе не очень и хотелось, но чем заняться еще, она не нашла. Не сидеть же весь день дома. Сначала, не подумав, она позвала с собой Надю, и та согласилась, но затем сама же и отговорила ее, потому что, во-первых, с ней надо будет вести о чем-то разговоры, к которым Люся не была расположена, а кроме того, оставлять мать на одну Варвару показалось опасным — совершенно беспомощный человек, ничего не сделает. На мужиков рассчитывать больше не приходилось, за ними за самими нужно присматривать, чтобы они чего-нибудь не натворили и не лезли к матери. Пьяных старуха не переносила, и от них ей могло сделаться хуже.

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу. Не для людей — в лесу она могла никого и не встретить, а для себя — от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта у Нади нашлась; что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары

и сапоги, но Люся отложила их в сторону — это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами. Когда собиралась сюда, думала о другом. Она уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос возвращающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать — ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя как-то по-другому, чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ею, только знала о ней умом, и это вызывало в ней раздражение и против себя — оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться одним общим и радостным настроением встречи, и против них, и даже против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать — именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней, гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом — то, ради чего в выходные она выезжает за город за многие километры, а тут лес вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться — встала и пошла. А грибы — что ж грибы!— они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор, как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах: то, что раньше выглядело большим, значительным, теперь приобретало обыкновенные размеры. Нет, гора действительно опустилась. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыты настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше: ее срезали. Она

была не так большая, как крутая, вредная и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та самая, в два человеческих роста канава, почти овраг, в которой по весне громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что им отзывалось эхо. Матери, отпуская ребятишек из дому, сначала наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом — не выкалывать друг другу глаза. Она и в самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Немного было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву старались не трогать, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней — это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность,— все меньше и меньше их остается на свете.

Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило дразняще прелым духом.

Закладывали силос обычно воскресником. Это была шумная, веселая работа: косили и возили крапиву, траву, сбрасывали их в яму, туда же спускали затем коня, на котором кто-нибудь из ребятишек, поднимаясь вместе с конем все выше и выше, утаптывал зелень, а вокруг ямы, мешая работать, густо клубилась взбудораженная ребятня. Ее отгоняли, она отступала и непонятно как снова оказывалась у ямы. Столько в этот день у нее бывало восторгов и столько слез! От разгоряченных мужиков легко доставались тумаки, от крапивы, с которой гонялись друг за другом и в кучи которой толкали зазевавшихся, вспыхивали волдыри. Люся вспомнила: волдыри затирали землей, а потом слюнявили, и тогда сквозь грязь на теле проступали беловато-натруженные пятна. Вспомнила она и еще одно, заставившее ее улыбнуться: у ее сверстников самой лечебной считалась слюна Кольки Комарова, он даже брал за нее мзду, и добрая половина малолетней деревни ходила у него в должниках. Обращались к Кольке, надо думать, не потому, что его слюна действительно помогала лучше, чем собственная, а потому, что прикосновение чужого странным образом волновало и завораживало, как любое знахарство, а кроме Кольки, никто больше на это не решался.

«Интересно, где сейчас Колька Комаров, что с ним сталось?»—

подумала Люся и решила, что надо будет спросить о нем дома. Когда-то он ухаживал за ней, и неизвестно еще, не с ним ли сложилась бы ее судьба, если бы она не уехала.

И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали — много возни, мало толку, а свозили сюда осенью солому. Она, бедная, до самой зимы ходуном ходила от ребятишек. Целыми днями пропадали они в ней, прорывая ходы сообщения, устраивая тайники и жилища, а потом ребята постарше по темноте приводили сюда на готовенькое своих девчонок. Только темнота помогала мало, потому что на березах, нависших над соломой, до петухов сторожили те же самые ребятишки — чтобы не пропустить, кто кого привел. Мало того, самые отчаянные из них, найдя место, где устроилась парочка, имели обыкновение выбрасываться на нее сверху — этакая милая деревенская забава! Но тут уж действительно надо было иметь отчаянную голову и длинные ноги, не то потревоженный парень мог и покалечить.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было, будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Перед второй, затяжной горой машинная дорога свернула влево, в обход — эту гору срезать было непросто. Люся пошла прямо, по старой, от которой осталась только глубокая тропа, заросшая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Люся вела по ее колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на землю. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля; на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Как и при всяком разбое, сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья — прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела, что весь берег у реки завален оставшимся после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами — раз, два и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую первобытную радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был один — весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в лю-

бое время подбирай и пили разбросанную где попало уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках,— с неожиданной грустью пожалела Люся.— И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа — дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, для которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он больше слышал и больше видел, различал; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами и в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье — бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту, как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И конечно, не обходилось без лиственничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разбередив десны, материли ее и хватались за курево.

Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не заблудилась ли она? Как можно было заблудиться в трех шагах от деревни? Нет, конечно: вон Касаловка — поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой, вон впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, Ближняя елань, за ней Вышка, справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла сказать, как зовут острова напротив деревни, и Люся удивилась себе: что это с ней? Казалось, какой-то голос — травяной или ветряной — наносил живущие здесь слова, и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не уз-

навая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустенье, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником; отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились так — не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной, да от заброшенной земли исходило пресное, сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи — значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Точно Люся не знала, что-то около того. Колхоз, можно сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немного, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь — вот они, поля, люди тоже остались, не так-то просто и легко тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, одна из них затем вернулась обратно.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью, без всякого ее обращения к памяти всплыло откуда-то в ней это никому не нужное теперь название и с сиротской призывностью улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, затем уже, после Люси, колхоз переименовывали и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала.

Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз — богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он по самому скромному счету заработает в три раза больше. Удерживать-то удерживали — и криком, и законом, да только плохо получалось.

Пока он боролся с одной бедой, подоспела другая — началось

объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уже не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины, будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха,— отмахнулась она.— Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских, оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь придет сюда еще. И все-таки та уверенность, с которой она шла в лес, в ней исчезла, легкое прогулочное настроение было испорчено, а как, чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже и захотела; ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже она решила присесть на примеченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась — не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было — была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого, что земля помнит ее и, как окончательного суда, ждет ее решения,— ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала»,— как оправдание повторила она и только тут с удивлением осознала, что было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг — она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло

совсем и его уже не найти, будто эти минуты могли что-то решить. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик, через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с ним сталось, а идти по дороге значило заранее выдать себя. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматривает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле — то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород — кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная ботва на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что уж очень непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед севом, Люсю отправили боронить это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась как шкура. По-доброму следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забивала зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу — худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним — тоненькую, во что попало одетую девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, стараясь второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед — назад, вперед — назад. Под гору он еще стаскивал борону, но, после того как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять.

Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понуждала его, не гнала и чистила борону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем как тронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую сильную усталость и беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать его вожжами, ничего не добившись, схватила за узду и потянула голову коня вверх — он мотал головой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку, но закричала не столько от злости, сколько от страха и от страха же стала пинать его во впалый бок, от ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена — видно, без Люси в своем недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет, приласканный проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня,— приговаривала она.— Ты это че удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.

— Ниче нету,— испугалась мать.— У меня ниче нету, Игреня, ниче не взяла. От дура дак дура. А он все понимает, хошь и конь. Ишо бы Игреня да не понимал.— Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку.— Он, подимте, не такое в толк брал, че

и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели ондать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтобы не бередить ногу, наливала не цельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал. Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз и завозил под собой ногами.

— Погоди, Игреня,— заторопилась мать и стала освобождать его от постромок.— Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то — хватит лежать, належался.

Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его:

— Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, сразу захотел. Сял — и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ниче, ниче. Ох ты, Игреня ты, Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу и упрекнула:

— Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же...

— Ага, такой гон.

— Ну и че? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна — хошь, вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддерживала его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала:

— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорела. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что оно пришло не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то своей, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и неудовольствие собой, тем, что она поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И даже работала»,— ей снова пришли на память слова, которые полчаса назад заставили ее искать это поле. Да, работала — как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала — мало ли в колхозе было дел, особенно в те годы, когда не хватало людей. «И пахала»,— добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала — как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, а переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок. Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек — только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Таньчорой из Киева.

«Хоть бы приехала сегодня Татьяна»,— обрадовалась Люся возможности думать о другом. А то мать без нее никому покоя не даст: Таньчора да Таньчора. Кроме того, стало бы ясно, что с матерью. Сейчас она только ждет свою Таньчору.

Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся день с чистыми резкими краями; воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была окаменевшей, глухой; лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе, белесоватым, березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было высокое, легкое, но синь на нем уже отцвела, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге — так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего, и все-таки не могла отделаться от непо-

нятно откуда берущейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие, гадающее о том, что может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя — тогда то, ради чего ее увели из дому, произойдет сразу же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать, бежать со всех ног до самой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, в окаменевших комках, воздух над ней, казалось, ссохся, и Люсе скоро стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться, и Люся наконец поняла, что на эту-то дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь — как узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, через которые не перелезть, не выбраться, и коридор этот приведет ее к чему-то неожиданному, может быть, страшному. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, целиком занятая тем, чтобы ее не застала врасплох какая-то другая, более хитрая опасность.

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. Она долго с недоумением смотрела на эту живую, шевелящуюся кочку: почему муравейник здесь, не в стороне? Как она, Люся, пройдет? Что ей делать? Может быть, теперь можно повернуть домой? Она обернулась и ничего не увидела позади себя — все было залито солнцем, и его свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о стены, она перешагнула у края муравейника на свободную дорогу и обрадовалась, что ничего не случилось. Она обрадовалась так, что смогла улыбнуться.

«Что это я?!— упрекнула она себя.— Что это, в самом деле, я так распустилась? Разве может здесь, где на многие километры кругом я знаю каждый кустик, со мной что-нибудь произойти? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и — на тебе!— поддалась каким-то глупым, детским страхам. Это все нервы, нервы — надо лечить их. Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать грибы. А потом домой. Здесь у меня все родное — разве можно тут чего-нибудь бояться? Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, уверенней; до лесу оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, заглушая ее, воздух пронзил тонкий и далекий, сильно избывшийся, но все еще слышный, нескончаемый испуганный крик:

— Минька-а-а-а!

Люся вздрогнула и замерла: она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом, повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте, посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и он, воспользовавшись этим, разросся в гнездо, поднялся, отвоевал себе у пашни землю и стал давать урожаи. Повинуясь первому, невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле, живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели убого: самые лучшие, крепкие ветки были с них оборваны. Сохранилась лишь боковая, жидкая поросль, до которой можно достать рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь человеку, голые пни, от которых гнулись в стороны уцелевшие кусты. Кое-где еще висели ягодки. Люся сорвала несколько — они были мягкие, сладко-прохладные, как и тогда, с мятой на вкус, и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась — никого, и все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

Это случилось тоже сразу после войны — жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие деревеньки повальный страх: там зарезали корову, там изнасиловали и убили бабу, там ограбили магазин, там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но беженцы творили свои дела, когда их не ждали. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; Люся вспомнила, что она видела, как их везли в район. Они сидели в одной телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые, и смотрели на людей с усталым вызовом.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, а к концу слухи о них затихали, и деревенская жизнь снова успокаивалась, бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку — хоть на колхозную работу, хоть куда, словно для беженцев, как для клещей, существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверно, она заприметила его еще раньше по густой, яркой цветени, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, а сам он от тяжести пригнулся к земле — поэтому и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил возиться с ягодой, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи и тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных и чистых без листа, тяжелых гроздьях — только успевай подставляй под них руки. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и ссыпала из него лишь тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь, и в ведре сразу прибавится на ладонь, а то и больше. Приятно было даже пропускать черемуху через руки, словно подставлять их под прохладную, нежную струю; хоть и мягкая, поздняя, она чудом не мялась и ложилась ягодка к ягодке. За каких-нибудь два часа Михаил и Люся до краев наполнили свои ведра, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день не хотелось. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту наткнуться на него может кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаил, поддавшись лени, тянулся в гору кое-как и отстал от Люси далеко. Она не захотела его ждать и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось еще шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и на землю с него, как привидение, спрыгнул какой-то незнакомый, страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами, страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и, вместо того чтобы кинуться от него, застыла как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным, небритым лицом, скрадывающим годы, бесцветные глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полней и сытнее была потом победа,— перед тем как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И снова Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее пробрала дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся, ее не отпустят.

Когда человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем, Люся попятилась. Он сделал обиженное лицо и развел руки: что, мол за фокусы? Она пятилась все дальше и дальше. Не выдерживая, он осторожно, как бы стараясь не вспугнуть, пошел на нее; на лице его, скошенном от холодного волнения на одну сторону, прыгала короткая жесткая улыбка. И тут Люся наконец бросилась бежать.

Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги проваливались в мягкой земле и заплетались в хлебах, теперь догонял ее — она уж слышала за своей спиной его шумное, всхрапистое дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться от них и выпустила ведро — громыхая, оно покатилось за ней по дороге.

— Минька-а-а!

Она закричала и тут же увидела впереди фигуру брата. Он шел неторопливо, вразвалку, а услышав крик, остановился совсем. Но уже в следующее мгновение он рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и резко затормозил: он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо Михаила, но, отбежав на безопасное расстояние, попридержалась, страх за брата заставил ее остановиться. Она закричала снова. Человек успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

— Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а!— надрывалась Люся.

Михаил поднял с земли камень и напружинился. Человек быстро, как для прыжка, присел, и Михаил отскочил назад. Человек зло, отрывисто засмеялся. Он снова попробовал испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и правда бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону; нарочито припадая на одну ногу, он неторопливо, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками, побежал через все поле к Нижней речке. Пока не поздно, он решил скрыться, уж очень громко кричала Люся.

Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала ясная, веселая от солнца тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело, обреченно тронувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках как о слабом, но возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись! Чего она боится? Неизвестно. Ничего не известно. Она боялась даже размышлять о том, приста-

ло ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного — может быть, от воспоминаний, от этих слишком ярких и явных воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново — для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое для нее, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки — вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.

Люся остановилась. Неправда. Здесь нет никого, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста — просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого; солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Она одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», — твердила она. Зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла?!» Мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его Люсе ближе. Забыла... Вот оно наконец то, что, не открываясь, почти с самого начала сегодня изводило ее какой-то молчаливой давней виной, за которую придется держать ответ. В самом деле, там, в городе, в своей новой жизни, Люся все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше,— забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала... Да, боронила, пахала — подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уж этим-то можно бы и гордиться — едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они окаменели, сле-

жались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний пыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.

И вот сегодня они вдруг вспыхнули.

7

Наконец-то к старухе пришла долгожданная Мирониха.

Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот — как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой — хоть плачь.

Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:

— Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?

Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы, и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.

— Дак видишь, живая. Вторые дни седни, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?

Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила, и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.

— Тебя пошто смерть-то не берет?— Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней.— Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительница, так и осталась. Ты мне все глаза измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь,— с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха.— Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.

— А ты и вправду запинаешь, с тебя не взять.

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-

нибудь старичка к себе возьму. Мы с ним, глядишь, ишо ребеночка родим.

— Ты, девка, свою родилку-то, однако, поране меня сняла да сушить повесила.

— А у меня другая есть, получше старой. Я ее летось у городской у одной на ягоды выменяла. Бравая такая была городская-то и молодая совсем, я к ей и подговорелась. Ты, старуня, теперичи со мной не равняйся.

— Не присбирывай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.

— Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, че ли. Ослобонилась бы я от тебя.

— Ишо плакать, девка, будешь, как помру.

— Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?

— И то правда,— согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы — чего доброго!— не договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не связываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди — выкатит слово не для ушей и не поперхнется.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур была бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю жизнь была жадной и все-таки сбереглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное — на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, наизготове; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой другой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре — больше.

С приходом Миронихи старуха повеселела: посветлели глаза, в которых обозначились блекло-карие кружочки, в лице появился интерес — что-то принесла Мирониха, что-то она расскажет? Столько не видались, а жизнь без остановок шла вперед, жизнь вон какая широкая, на все города и деревни, на всех людей ее достает, и все сходится ровно-ровно, без остатка. До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему и не по-нашему — язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут. Старуха любила слушать старинные песни и посылала Нинку за Миронихой, чтобы слушать вместе, но их пели редко, все больше чем-то бренчали. От ранешних протяжных песен она будто взлетала на

крылах над землей и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые еще не нашли успокоения. И тогда ей не жалко было умереть, ей чудилось, что эти песни поют у кого-то на поминках, после того как снесли в землю гроб, и она про себя подтягивала им, провожая незнакомую освободившуюся душу, которую не иначе как и встречать на том свете будут таким же старинным пением.

В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость — поговорить с Миронихой.

— Ты пошто к мине долго не шла-то?— упрекнула ее старуха.— Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела, ли че ли.

— Я уж и так, старуня, обезножела,— качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирониха.— Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не идет.

— Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?

— Когда бы я сама знала где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, че ли, блудит, а тут сердце не на месте. Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?

— Ниче не слыхала,— опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос.— Че ты меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне че скажет? Медведь, говоришь, у Голубева телку задрал?

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала.

— Задрал, задрал,— подтвердила Мирониха.— А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, че тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вот она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, был и нету. Прямо по воздуху домой прилетел.— Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос.— Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день

в реке полоскала и седни полощет, а низовски бабы по воду теперечи под наш берег ходют.

— А ты не подсмеивайся,— осудила ее старуха.— Когда сама только сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно не пришел. Он к телке, а я на его да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет.

— У меня твои байки слушать терпения давно-о уж не стало. Ты пошто путем-то, как люди делают, не расскажешь? Он где задрал, в каком месте, телку-то?

— Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пересказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?

— Дак я его пошто не помню? Ну. Я, подимте, ума ишо не решилась.

— Тамака он ее и встренул, под самой деревней. Они того и гляди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. Вот и будет округ деревни шастать.

— Будет, будет,— закивала старуха.— Нечего и говореть — будет.

— Я свою страмину не знаю где и искать. Она че думает, я за ей месяц бегать подрядилась? И так уж сколева перемерила. Живая она, не живая... Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так я на своих палках до горы достану, и меня уж к земле тянет.

— Ты за хребет, девка, не бегай. Ты там останешься, я че без тебя делать буду?

— У меня только об тебе и разговор,— не поддалась Мирониха.— Я ей про корову толкую, а она все никак с себя не слезет.

— Твоя корова и так и эдак тепери молоко потеряла.

— Да уж не про молоко, старуня, печаль. Мне бы хошь саму корову-то на глаза увидать, я бы знала, что ее медведь не съел. А так броди она, сколева ей надо.

— Ох, девка ты, девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние силенки на ее изводить. Какую пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ней беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя че — семеро по лавкам сидят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полеживай, как барыня, те-

бе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак даром ее ондала, только бы не мучиться с ей.

— О-о-о,— с издевкой пропела Мирониха.— Поглядите вы на ее. Корову бы она продала, и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жизнь держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала. Кака така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко.

Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Миронихой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мучения и не может. Да и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, а все хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Миронихой больше от обиды, почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет. Избавься Мирониха от своей скотины, и тогда они волей-неволей попадали в равное положение, и старухе было бы легче. Она смирилась со своим бессильем, но и в нем ей нужна подруга, да не какая-нибудь, а именно Мирониха, с которой она дружила всю жизнь.

Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнет ими и полетит. Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:

— Изговелась ты у меня, старуня.

— Изговелась,— кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть.

— Ребяты-то твои приехали, че говорят?

— Дак че говорят... Поглядеть на меня приехали.

— Они тебя, старуня, поди-ка, хоронить приехали.

— Ну и похоронют — как им мать не похоронить,— спокойно согласилась старуха, не отводя глаз от окна, будто разговаривала с кем-то оттуда.

— Не забаивайся. Они тебя ждать, че ли, будут, когда тебя бог приберет?

— А им меня ждать и не надо,— по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть.— Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Тоньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с имя, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Вар-

вара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне только бы Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей че. Говорели, вчерась приедет — нету. Вчерась говорели, седни будет — и тоже нету. Я себе уж места не нахожу, не знаю, че и думать.

— Ты, старуня, не убивайся Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А че зря убиваться?! Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперечи все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога неближняя.

— Им меня ждать не придется,— повторила старуха, качая головой.— Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя здесь задерживаться. Нехорошо. Я и так уж вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назад надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, как заведено, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хоть ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.

— Да говори,— потеплела старуха.— Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли че ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ниче. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Че бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

— Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, че я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

— Я тебя не путаю.

— Ну и сиди, не спорь со мной.

— Я, однако, вот че,— Миррониха привстала и через старуху потянулась к окну.— Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назад прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.

— Ты не думай, я быстро провернусь.

— Беги, девка, не оговаривайся.

Старуха опять осталась одна и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль, от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой играло солнце, она сдвинула на него свои ноги, и, когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее, вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то помимо тепла и света и не могла вспомнить, найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверно, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну — что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя радость, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение. И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: необязательно быть здесь, чтобы слышать их повторяющийся зовущий голос — повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.

Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит,— ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.

Мирониха сказала:

— У вас, старуня, че-то баня ходуном ходит.

— Баня?— Старуха и баню поставила на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.

— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то

другим,— хитрила Мирониха.— В ей у вас кто живет, че ли, кака испидиция?

— Кака, девка, испидиция, че ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.

— Все, че ли?

— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

— Дак у них кака нужда днем-то мыться?— затягивала на бане петлю Мирониха.

— Мыться? Ты, девка, как маленькая, ей-богу!— сердилась старуха.— Куды ишо мыться — вторые дни седни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились. Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.

— Вино, че ли, пьют?

— Нет, им Надя в тазу воды нагрела, они ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко — не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.

— Дак они тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.

— Степки Харчевникова?

— Будто его голос был.

— А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?

— Однако что, старуня, так. Теперечи мало кто сухой живет.

— Мало, мало. Я как ни погляжу, все по улице ходют, бодаются. Это че, девка, деется на белом свете? Оне пошто так пьют-то? Какая им доспелася нужда? Оне ить себя только гробят, боле ниче. И бабы, и бабы-то за мужиками тоже тянутся, воздыряют почем зря. В ранешное время рази так было?

— Не забаивайся. Че нам говореть про ранешное время!

— Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну. Пьянчужка, и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери один Голубев на всю деревню не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.

— Так, старуня, так. Понужнули бы раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Че хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало.

— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала,— показала старуха на тумбочку, где стояло радио,— дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ниче. Там ее тоже не хвалят.

— Ну и че, что не хвалят. Им на эти разговоры навалить большу кучу да размазать. Много оне слушают? Им не говореть надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко не жалко — со всех надо стребовать, чтоб не изгалялись над народом.

— Правда, девка, правда. А то делать как-нить, дак никак и будет.

— Я тебе об чем и толкую.

— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.

— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.

— И стыд забыли, правда что.— Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала.— От он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк-пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеиваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась че понатворил. Смех им. Доведись до меня, я бы со стыда сгорела.

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда.

— Ну. Я тебе, девка, че хочу рассказать. Напомнила ты мне про стыд.— Старуха подождала, пока наберутся воспоминания и вернут ее в то неблизкое время, откуда донесся знакомый глухой отзвук случившейся жизни.— Это ишо в ту голодовку было,— пояснила она.— Варвара у меня тогда уж в девках ходила, помогала, и Илька тоже большенький вырос: там схватит да здесь урвет, и ниче, живой. От Люся, та не дай бог болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддержать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо ползала. Или пошла ли — тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маненько надо было? У меня сердце на части разрывалось. Че тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала.— Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом:— Твои-то не сулятся ноне приехать?

— Ниче не пишут.

— Моить, без письма приедут?

— Не знаю, старуня. Помру — приедут.

— Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя — о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то груза на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учился, от него тоже никакой подмоги. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком будем. А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как

собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на общий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут говореть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится. Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мине жалко ее станет, я загородку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог.

И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под колхозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала и дверку за собой закрывала. Голову поворачиваю — Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить уж большенькая была, знала, что Зорька не наша корова. Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.

— Ребенок была, а память-то, подимте, одна. Запало, и все.

— А хошь и помнит — че с того? Лучше было бы, когда бы она с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя мыть? Мало их, че ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.

— Оно и не лучше было бы, а так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут хуже воровства вышло.

— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть.

Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на подушку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.

— Не видать?— спросила старуха.

— Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она че думает, у меня терпение каменное, че ли?

— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится.

— Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я из-за ее нечеловек.

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:

— Ты-то пошто нечеловек? Это от меня уж, однакó, лежалым пахнет.

— Не забаивайся, старуня.

— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколько не выходю. Все тут, все тут, на одном месте.— Не глядя на Мирониху, она сказала о ней и о себе:— Зажились мы с тобой, девка.

— Пошто зажились?

— А куды нам было столь жить? Пускай бы давно померли, как бы хорошо было. Ты бы сичас не искала свою корову, я бы не лежала тут, не думала, что хошь бы Мирониха не убежала, посидела ишо, а то мне одной опеть будет тоскливо. Это мне сам бог дал тебя, Мирониха. Он, он. Как бы я без тебя жила?

Старуха закрыла глаза и, соглашаясь, кивнула своим словам, себе и Миронихе. Глаза у ней не открылись, она осталась одна, забыв обо всем на свете и потерявшись не то во сне, не то в дремотном облегчающем покое. Карауля ее, Мирониха сидела рядом и думала о том, что хорошо бы им со старухой умереть в один час, чтобы никому не оставаться на потом. Она еще долго сидела возле старухи — пока не пришла Варвара.

8

— Ты расскажи, расскажи, Степан, как ты тещу обхитрил,— уговаривал Михаил длинного рыжего мужика Степана Харчевникова, который ему и Илье составил в бане компанию все за тем же горько-сладким занятием.— Расскажи Илье, а то он не слыхал.— Михаил ронял голову и морщил в смехе лицо.— Давай, Степа, начинай.

Ради Степана открыли новую бутылку. С закуской теперь стало легче. Михаилу больше не страшны были ни сатана и ни жена, он сделал два захода в избу и запасся даже супом, который без ложек приходилось прихлебывать из кастрюли через край. Вынес он и припрятанные Нинкой в муке бутылки и все их, как дрова, сложил в печку, куда никому не придет в голову заглядывать, а ящик приспособил себе под сиденье. Он был все так же босиком, забыв за более важными делами обуться, и подсовывал ноги под постель, на

которой ночью спал Илья. Сейчас Илья нес дежурство за курятником, командовал парадом.

— Давай, Степан, рассказывай,— пристал Михаил.

— А я слышу, говорят, Илья приехал,— объяснял Степан свое появление, хотя уже успел с ним выпить.— Думаю, во всяком разе надо Илью повидать. Одногодки же, вместе по деревне бегали, хулиганство творили.— Степан раскинул на всю баню руки, показывая, что не повидать Илью ему никак было нельзя. Голос у него жесткий и малоподвижный, оттого он и помогает ему руками.— Ну и пошел. Да чуть было не промахнулся. Я-то прямым ходом в избу двигаю, на баню не гляжу. Некультурный человек. Уж в последний момент смекнул: ну-ка, что там за собрание?

— И правильно сделал, что пришел,— одобрительно сказал Илья.— А у нас, сам знаешь, мать лежит, от нее никуда не уйдешь. Ну, мы тут и устроились, чтобы, значит, в случае чего рядом с матерью находиться.

— Это ты, Степан, очень даже правильно сделал,— подтвердил Михаил.— Выпили и еще выпьем. Ты не думай, у нас есть что выпить — вон, полная печка. И все такая же, белая, крепкая.

— Тебе, однако, уж очень даже хватит,— поддел его Степан.— Как бы ты очень даже пьяным не сделался.

— Нет, Степан, ты почему так говоришь? Ты пришел, я тебя встретил как гостя. Ты вот брата моего Ильи товарищ, мне тоже вроде как товарищ, в одной деревне живем. Мы с тобой никогда не ругались, ничего такого, наоборот, даже выпивали вместе. И ты мне такую непотребность говоришь. Вроде я совсем пьяный. Нет, Степан, я еще выпью, я свою норму знаю. А если что, я и сверх нормы могу — почему нет? Вы вот встретились, а мне тоже интересно с вами посидеть, поговорить. А ты вроде как спать меня укладываешь. Я вроде и посидеть не могу.

— Да сиди, сиди. Ты здесь хозяин — как я могу над тобой распоряжаться?

— Ты, Степан, лучше бы рассказал, как с тещей-то дело обстояло,— вспомнил опять Михаил.— Как ты, значит, тещу свою, тетку Лизавету, перехитрил.

— Да что рассказывать! Уж вся деревня, почитай, знает.

— Деревня пускай знает, а брат мой Илья не знает. Он из города, ты ему расскажи.

— Рассказать можно, язык не отвалится,— как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился Степан и неожиданно весело подмигнул Илье:— Слушай, Илья, раз так.

— Слушаю, слушаю — ага.

— Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас их тут по домашности происходит. Это вот летом было. Выпили мы так же с Генкой Сус-

ловым, только не в бане, нет, а у него в огороде, его баба отправила туда картошку окучивать. Ну мы, значит, в борозде пристроились и давай окучивать. А бутылки-то я принес, я ему еще с зимы за сено был должен. Думаю, что это я рубли понесу, еще не возьмет, прихвачу-ка я лучше две поллитры. Взял, прихожу, а мне говорят: Генка в огороде. В огороде — так в огороде, мне безразлично. Я туда. Генка на мои поллитры посмотрел и сразу тяпку черенком в землю. Конечно, картошку окучивать или выпивать?— Степан на выбор развел руки и брезгливо встряхнул их, показывая, что такого вопроса для них не существовало. Он быстро увлекся и рассказывал с явным удовольствием. — Ну, сидим мы. За стаканом нам соседский мальчишка сбегал, Генка с гряды огуречных зародышков в карман нарвал, потом еще раз ходил — все есть. Сидим, стакан от одного к другому, как мячик, гоняем. Некультурные люди. Некультурные люди, а хорошо. Я к этому делу с полным моим интересом, я и шел выпивать, а Генка, правда, из дому снарядился картошку окучивать, у него другая была цель. Ладно, картошка стоит. Додавили мы бутылки, Генка говорит: «Я сейчас маленько еще потяпаю, чтоб баба завтра не сомневалась, а потом мы с тобой в деревню пойдем». Ладно, думаю, тяпай, а я погляжу. Он мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волоса завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем,— говорит,— в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане были.— Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес:— Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило.

— Это бывает,— с радостным смешком подтвердил Михаил, вскидывая голову.— Это такое дело. Ты дальше, дальше рассказывай. Ты, Илья, дальше слушай.

— А что дальше! Дальше известно что. Очухался, как после атомной бомбежки, а сам еще глаза не открываю, прикидываю про себя: какой это день, тот, в который мы с Генкой картошку тяпали, или уж другой, и где я — дома, не дома? Ладно. Глаза потихоньку раскрыл — баба моя рядом лежит. Я ее сразу узнал. На другой кровати ребятишки — тоже мои. А там и теща со своего угла глаз в меня целит. Пообсмотрелся я и думаю: надо, однако, на ноги подняться. Только пошевелился, а теща, как кошка, прыг со своей лежанки. Я никакого значения ей не даю, подымаюсь, я только потом и сообразил, с какой целью она планировала меня опередить. Она, язва, и шагу, чтоб не во вред мне, не сделает, у нас с ней с первого дня партизанская война идет. Ей волю дай, она бы уж давно с самой низкой целью голову мне топором отрубила и даже не

перекрестилась. Некультурный человек. Поднялся я и пошел к Генке, чтобы, значит, узнать, как он со вчерашнего дня живет. А Генкина баба меня в воротах встретила и говорит: нету Генки. Я знаю, что дома, а она врет, что нету, и ждет, значит, когда я обратно поверну. Да подавись ты своим Генкой, мне-то что! Ему же хуже. Он тобой не опохмелится — понимать должна.

— Это ты очень даже правильно ей сказал, Степан,— удивился Михаил.— Очень даже правильно. Молодец.

— Зашел я еще к Петьке Сорокину, а тот сделал вид, что не пьет и не пил никогда. «Нету,— говорит,— и денег нету». Кáк будто бы я не отдал ему. Во всяком разе, пришлось мне править домой. А сам знаю, что где-то в подполье у нас самогонка имеет полное право находиться. Баба уж на работе, осталась одна теща. Прихожу — так и есть: она на западню поставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет. Она уж раньше меня сообразила, куда я полезу. Для того ведь только и живет, чтоб мне вредительство творить, другого дела у нее тут нету. Ладно, думаю, переждем, должна же ты с места сдвинуться. Мне бы только успеть в подполье запрыгнуть, меня потом оттуда подъемным краном не вытащишь. А сам виду не подаю, что я заинтересован, хитрость на хитрость у нас пошла. Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. Думаю, долго ты меня еще будешь мурыжить? Иду на разведку — сидит как прикованная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке, некультурной грубостью: «Мне и здесь хорошо». Думаю, как бы сейчас тебя шмякнул, чтоб тебе еще лучше стало. Ну что ты с ней будешь делать? Ясно, что умрет тут, а не уйдет. А возьми я ее да перенеси вместе с прялкой на другое место, крик такой подымет, будто я ее резать хотел. Еще не вытерпишь, да и где-нибудь не так нажмешь, потóм отвечать надо. Ладно, думаю, сиди. Сиди и не шевелись, падла ты такая.— Степан зло погрозил в пол рябым пальцем.— И вот когда у меня обнаружилось безвыходное мое положение, тут-то я и вспомнил, что неправда, я так просто не сдамся. Не хватало еще, чтоб она мне свою политику качала. Я взял из сарая лопату и пошел к Ивану. У нас дом барачного типа, сам помнишь, я на одной половине, Иван на другой. И подпольи у нас так же, за моим сразу его, а стеночка меж их совсем пустяшная, я еще в прошлом году две доски спустил, чтоб маленько укрепить ее, а то она уже совсем поползла. Пошел я к Ивану и под тем предлогом, что мне надо с этой стороны поглядеть, залез к нему в подполье. А там что — два раза копнул, и готово, лезь. Я и пролез на свою половину — будто тут и был. Пообтряхнулся, пообсмотрелся — вот она, банка

с лекарством. И закуска есть. Что мне еще надо? Слышу, теща сидит, пыхтит. Думаю, сиди, сиди, вот ты мне и пригодилась, никого хоть сюда не пустишь. И не тороплюсь.— Степан весело и ожидающе прищурился.— Так она, теща-то, чуть с ума не сошла, когда я оттуда запел «По долинам и по взгорьям...». Ее будто ветром сдуло. Слышу, только прялка брякнула.

Илья засмеялся, с любопытством вглядываясь в Степана, спросил — не потому, что не поверил сразу, а чтобы доставить удовольствие себе и Степану, продлить в своем воображении ту прекрасную картину, когда Степан пробрался в подполье:

— Там и выпивал?

— Там, там,— радостно подтвердил за Степана Михаил, счастливый тем, что история понравилась Илье.— Она, значит, наверху караулит, а он снизу, как червяк, из одного подполья в другое. И припал. Это такое дело. Вот за это я Степана очень даже уважаю.

— А песню-то зачем?

— А так.— Плутоватая улыбка на лице Степана стала еще шире.— Для смака. А то она жизнь прожила и не слыхала, как из подполья песни поют. Некультурный человек.

— Ну, даете вы здесь,— с удивлением и завистью покачал головой Илья и опять засмеялся.— Ну, даете.

— Жить-то надо как-то. Вот, значит, и живем. Для разнообразия жизни.

— А потом-то что тебе теща говорит, когда ты из подполья вылез? — допытывался Илья.

— А что мне потом скажешь? Мне потом хоть что говори.

— И жена тоже ничего?

— А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у меня ученая, во сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик, он и есть мужик, завсегда его верх обязан быть.— Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, говорил длинно.— Конечно, я не буду врать, что у ней ко мне возражений совсем не имеется. Имеются, особенно вот, как ты сам имеешь полное право догадаться, по части выпивки. Другой раз утром она мне свои возражения прямо в глаза, а если глаза закрыты, то прямо в уши, да громко так, как «руки вверх!», выложит. Ну, конечно, у меня на этот предмет свои, мужицкие, возражения находятся. Я их ей понятным голосом, чтоб зря дискуссию не разводить, обскажу, и опять все в норме.

— Нет, Степан,— тяжело выговаривая слова, не согласился Михаил.— Баба, она, кроме того, что она баба, она женщина. Ее бить нельзя. Твоя или моя там баба, она, кроме того, что она твоя или моя баба, она государственная жен-щи-на. Она может в суд подать.

— А я тебе разве говорю про бить? — хмыкнул Степан.— Ты, Михаил, однако, уж не то слышишь. Зачем бить? Бить — это крайняя мера наказания. Как расстрел. Если баба ко мне с пониманием, то и я к ней с пониманием. Во всяком разе, я тоже государственный, а не какой-нибудь первобытный человек. Мы вместе с моей бабой в народонаселение нашего государства засчитаны.

— Это ты очень даже правильно говоришь. Когда ты так говоришь, я с тобой очень даже согласный.

— Я, Михаил, понимаю, что наши с тобой бабы в государственном масштабе — это женщины. Что ты мне об этом рассказываешь. Я тоже мало-мальски грамотный человек, газеты выписываю, читаю.

— Я знаю, ты читаешь, Степан, читаешь.

— Я три газеты выписываю,— обращаясь к Илье, сказал Степан. Илья, поскучнев, кивнул.— Одну маленькую, из нашего района, и две больших — одну из области, и центральную газету «Правда». И все их прочитываю. Есть которые выписывают так, для бумаги, для хозяйственных потребностей, а я пока газету от начала до конца не прочитаю, у меня ее никто даже тронуть не смеет. Центральную «Правду» без выходных, каждый день печатают, а я все равно читаю, чтобы, значит, быть в курсе международного и внутреннего положения. Где какой переворот из-за власти или забастовка трудящихся — я уж знаю.

— Это ты очень даже правильно говоришь,— из последних сил тянулся за разговором Михаил.— И перевороты бывают, и забастовки. Я тоже знаю. А в нашей стране баба, она, кроме того, что она баба, она все равно женщина. Ее и бабой-то звать почти что нельзя. Для нее это вроде мата, не-уважи-тельно.— Трудные для себя слова Михаил делил на части и, чтобы не сбиться, произносил их с остановкой только после того, как выяснял, что уже сказано и что осталось сказать.— И ты, Степан, не путай про те страны и про нашу страну. Мы с тобой живем в нашей стране.

— А я думал, не в нашей.

— Нет, нет, Степан, ты не путай.

Степан подмигнул Илье и показал глазами на Михаила: мол, все, готов, бормочет сам не зная что и мешает поговорить нам. Михаил клонился все ниже и ниже, его голова упиралась в колени. Степан не стал отвечать ему — может быть, нужна только минута, чтобы он, не слыша голосов, окончательно утихомирился, тогда его, как мешок, можно будет повалить на постель и спокойно продолжать разговор. Степан пригнулся и остановил взгляд на уровне водки в бутылке, будто хотел удостовериться, не убывает ли она на глазах. Мало ли что — бутылка открытая, всякая тварь может залететь и вылакать, как свою. Его мучила совесть перед раскупоренными и неопорожненными бутылками, для него это было то же

самое, что любоваться страданиями недобитого животного: если решил убить, так бей сразу, не тяни. Степан попытался поймать взгляд Ильи, чтобы намекнуть, что хватит им издеваться над бедной бутылкой, но Илья смотрел мимо.

Илья тоже отяжелел от водки и от разговоров, но не в пример Михаилу держался пока твердо. Тот счастливый и краткий момент, когда следовало остановиться с выпивкой, был давно упущен, и жалеть об этом теперь не стоило. Что еще делать? В самом деле, что делать, пусть кто-нибудь научит. Еще до Степана Илья зашел к матери — она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что сказать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд. Водка, казалось, не брала его, а только добавляла груз к той тяжести, которая отзовется позже — завтра, послезавтра.

Когда появился Степан, Илья повеселел, засуетился, но теперь, после того как все первое, что говорится при встрече, было спрошено и отвечено, а до воспоминаний дело еще не дошло, он опять обмяк, с трудом заставляя себя следить за тем, что происходит вокруг, будто сидел среди этих людей, в том числе и со Степаном, так давно, что они успели порядком надоесть друг другу. С каким удовольствием он бы сейчас закрыл глаза и уснул, но его насторожил Михаил, ему не хотелось выглядеть при Степане так же, как брат, поэтому он старался держаться.

Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня быстро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез — ни курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть. Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только Михаилу было все равно — жара сейчас или клящий мороз.

Степан, вспомнив свой разговор с Михаилом, ворчливо и обиженно сказал:

— Если на то пошло, сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось. А с ней не только в кино ходить, с ней жить надо. Для жизни мне, к примеру, баба больше подходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности происходит — почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? «Я женщина, я женщина»,— передразнил он. Ну, не мужик, все видят, ну и что? На руках тебя за это надо носить, по головке гладить? Ты сначала поимей, за что на руках носят, потом спрашивай. Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в человеческом теле блохе и

той известно, и нечего на этом предъявлять свои претензии. Конечно, никто не спорит, мы без них не можем, так жизнь построена. А они без нас могут, что ли? Во всяком разе, еще больше не могут. Как ты, Илья, считаешь? Я говорю, они без нас еще больше не могут, такая у них натура. А во-вторых, у мужика, кроме бабы, в нерабочее время также и другие занятия имеются, а у нее, посчитай, нет.

— Это точно — ага,— коротко подтвердил Илья. Мысль о том, что женщина больше нуждается в мужике, чем мужик в женщине, пришлась ему по душе и взбодрила его, на лице у Ильи появилось плутовато-хитрое выражение, как после удачной выходки, о которой еще никто не знает.

Степан покосился на бутылку, вольно или невольно показывая, что одним из главных мужских занятий в нерабочее время, о которых он упомянул, он считает выпивку.

— Я в прошлом году летом в город ездил,— продолжал он.— Там я вдоволь насмотрелся на этих женщин. И правда, кругом одни женщины, я уж потом нарочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинах. Если где встретится, так сердце за нее радуется, что сохранилась, а то ведь скоро мы их, как доисторических мамонтов, будем искать. Она идет, так по ней видно, что у ней и мать была и бабка, видно, что в жизни человек находится, а то ведь эти женщины-то, особенно которые помоложе, они все как заводные куклы, одна на другую до того похожи, не отличишь, где какая. Их не рожали, на фабрике делали...

— По ГОСТу,— вставил Илья.

— Как ты говоришь?

— Я говорю, по ГОСТу, по государственному стандарту.

— По нему, однако, и есть. Только у одних выточка получше, у других похуже, больше никакой разницы. И ходят, красуются: вот я какая, поглядите на меня. Вот у меня какие ножки, эта правая, эта левая, будто у нее у одной ноги, а у всех костыли. Вот у меня какая вертушка — туда-сюда, туда-сюда, ишь, как красиво — будто никто не знает, для чего человеку это приспособление дадено. Ее, вертушку-то, прятать надо, а она рада ее совсем заголить. Вот сколько я на голове волос накопила, вот какие у меня глаза: я вас в упор не вижу, а вы на меня смотрите, любуйтесь. Для нее в том и состоит цель жизни, чтобы, значит, себя показывать, я не знаю, как она там дышит, когда ее никто не видит. А чуть чего: ой, у меня нервы, нервная система. И уж руки у нее нервы, и ноги нервы, и это самое место, откуда ноги растут, тоже сплошь нервы. Слова ей не скажи. Я четыре ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же женщина. Чуть он ей не угодил — она в больницу. При мне каждое утро бегала.

Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы».— «А что конкретного на этой почве болит-то, какое место?» — «Общая слабость, вам не понять». Где же мне понять... Не слабость у нее там никакая, а слабинка. Делать нечего, она и уросит, каприз над ним строит. Вот они, женщины. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют, к работе не приспособлены. Скоро уж рожать и то разучатся. Я не знаю...— Степан озабоченно покачал головой.— А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать? В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается. Скажи, Илья.

— А что тут говорить? Правильно.

— Вот он сказал.— Степан кивнул на склоненного в три погибели Михаила,— что их будто и бабами-то называть нельзя, для них это будто оскорбительно. А почему оскорбительно? Что такого плохого в этом слове? Почему я не оскорбляюсь, когда мне говорят, что я мужик? И даже наоборот, назови меня кто мужчиной, это мне уж нехорошо, обидно, будто я не могу быть мужиком, не соответствую на работе или там по домашности. Мужик я и есть мужик — что мне еще надо? Так и баба. Гляди-ка, обидели ее! Вон ваша мать, тетка Анна, всю жизнь бабой прожила и ни на кого не обижалась. Пускай другие попробуют быть такой бабой, как она. Про нее никто, ни один человек худо не скажет, не имеет права. Язык не повернется.— Степан вдруг сразу, как поперхнулся, умолк, его осенило.— Давай, Илья, выпьем за вашу мать,— медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотник следит за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь за себя, сказал Степан.— Давай, Илья. За тетку Анну не грех и выпить.

— Это оч-чень даже правильно,— неожиданно услышали они голос Михаила. Михаил оторвал с колен голову и точным, прицельным взглядом уставился на бутылку, ожидая, когда ее заставят делать то, что ей положено делать.— За мать оч-чень даже надо выпить,— подтвердил он.— Наливай, Илья.

— Мы думали, ты спишь,— покосился на него Степан.

— Я, может, и сплю, но за мать я могу и во сне выпить. Вот так, Степан. Мы для того ее и брали, чтоб за мать пить, больше ни за кого. Илья скажет.— Михаил, качнувшись, хрипло рассмеялся.— А сами забыли. Это ты очень правильно, Степан, сделал, что подсказал нам. Очень даже правильно. А то мы забыли. Забыли, и все дела. Что ты с нас возьмешь? Пьем просто так, вроде нам и выпить не за кого. Оно, конечно, у нас тут промашка вышла. Мы не рассчитывали за нее за живую пить. Это такое дело. Илья скажет.

— Хватит тебе об этом! — оборвал его Илья.

Михаил осекся, остановил на Илье нездоровый, прищуренный взгляд и медленно выговорил:

— Ну, если хватит, пускай будет хватит. Не нравится, значит.

— Мать у вас хорошая,— сказал Степан.

— Не умерла,— уже совсем невесело и непонятно, жалуясь или хвастая, произнес Михаил.— Так и не умерла. Живая. Если мне не верите, идите посмотрите сами.— Он потянулся за стаканом, и Степан, боясь, что он упадет, торопливо подал ему свой, а себе взял с курятника.— За мать до дна! — потребовал Михаил, как всегда, первый выпил и по полу катнул от себя стакан к Илье. Илья подобрал его, и они со Степаном молча чокнулись.

— Ты-то полное право имеешь забыть, маленький был,— обращаясь к Михаилу, сказал потом Степан. Михаил, не слыша, опять оседал, скручивался на своем ящике, и Степан повернулся к Илье: — Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга, тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису, и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага,— улыбнулся Илья.— Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом.

— Я бы им посудил! За Дениса-то! Хоть бы человек был.

— Что это вы там бормочете? — услыхал их Михаил и потребовал: — Песню. Давайте песню.

— Живучий же ты, Мишка,— удивленно сказал Степан.— Какую тебе еще песню? Может, ту, где медведи задом, значит, трутся об земную ось или там обо что-то еще? Хорошая песня. Как раз для нас с тобой.

— Не-е,— отказался Михаил.— Другую. Мою любимую. Русскую народную.— Он приподнял голову и, держа ее на весу, затянул:

Нам бы подали, да мы бы выпили...

Голова его сорвалась и ткнулась в колени. Рыдая, Михаил закончил:

Нам не стали подавать — мы не стали выпивать.

— Ишь на что намекает,— ухмыльнулся Степан.

То же самое Михаил пропел еще раз, больше слов он не знал и, заворочавшись, легко и бесшумно, будто кто его снял, повалился

с ящика вниз, на постель. Илья со Степаном полюбовались на него, Степан предложил:

— Может, правда споем?

— Давай. Гулять — так с музыкой.— Последняя водка сделала Илью решительней, в его глазах загорелись бесноватые огоньки.

— Только эти, теперешние, которые по радио передают, не будем,— предупредил Степан.— Я их не люблю. Они какие-то... Пока поют, забавно, не так забавно, как щекотно, будто с тобой, как с ребенком, кто-то играется. А пропели — помнишь, у ребятишек есть обманка «А кто слушал, тот дурак». Так и тут. Будто дураком себя выставил, что слушал, больше ничего. Давай уж лучше наши, которые за душу берут, без обмана.

— Может, твою любимую споем?

— Какую мою любимую?

— Ну ту, которую ты теще в подполье пел.

Степан засмеялся:

— А что — можно и с нее начать.

Они дружно, в голос, грянули боевую и заслуженную «По долинам и по взгорьям». Михаил, мыча, подтягивал им.

9

Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать, так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, пусть выкручивается как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней ни духу.

И только старуха ждала не переставая. Она вздрагивала от любого звука за окном и замирала при каждом шорохе у двери. Она не помнила, чтобы за дочерью это водилось, но ей казалось, что Таньчора, попав в избу, может подкрасться и посмотреть на мать тайком и только после этого открыться, поэтому она все время держала дверь на прицеле, чтобы поймать дочь, когда та начнет выглядывать. Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смотреть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Старуха

не давала им повады, заставляла смотреть — на что ей теперь их было беречь, для какой нужды? Разглядеть Таньчору их еще хватит, а больше ничего и не надо. И только когда глаза от усталости и боли начинали слезиться, старуха прикрывала их, оставляя узенькую щелочку по очереди то в одном глазу, то в другом, в которую можно было подсматривать, и так давала им отдохнуть.

Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось. Старуха понимала, что Таньчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен, а с завтрашним днем ей будет уже не по пути, он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать: пока оставалась надежда, она надеялась и верила, что Таньчора успеет и не допустит того, чтобы мать на нее под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую, время пока есть, и нечего зря изводить себя — приедет, никуда не денется. Уже далеко после обеда был один момент, когда сердце у старухи заколотилось сильнее, и она поняла его так, что оно почуяло Таньчору, которая теперь совсем близко, на подходе. Старуха встрепенулась, как молоденькая, и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее повернула голову к двери и приготовилась. И правда, послышались шаги, зашевелилась занавеска — вошла Варвара. Своим горячим, несмирившимся умом старуха подумала, что Варвара пришла известить ее о Таньчоре, но та, будто нарочно, чтобы подразнить мать, стала рассказывать, кто что в деревне говорит про ее сон. Что с нее взять, Варвара она и есть Варвара. Старуха, не слушая ее, вся подалась к двери: вот-вот по воздуху донесутся другие шаги и другой голос... вот-вот. Но они задерживались, их не было.

Она сидела так долго, порой теряя себя, забываясь во внимании, и тогда ей казалось, что ее подменил здесь какой-то другой человек, которому все равно, приедет Таньчора или нет, оттого он ничего и не слышит,— после этого она заставляла себя слушать еще внимательней. Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело переступала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух и мешают ему отыскать среди всего остального то, что ему нужно. Потом вернулась с горы Люся и стала спрашивать у матери, не болит ли у нее что. Старуха замотала головой, ей захотелось, чтобы Люся ушла. Люся и в самом деле скоро перешла в другую комнату и прилегла там на

Михаилову кровать — видно, с непривычки наломала ноги и решила дать им отдохнуть.

В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет. Зато приедет, и старуха тоже увидит дочь перед собой и прольет для нее, как благословение, свои последние слезы. И не надо торопить себя, не надо, все равно не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами легкие руки. Что уж тут говорить... Лежала — ну и лежала бы, если ни на что другое больше не способна.

Она послушалась себя и легла. Теперь бы еще ни о чем не думать, остыть от ожидания, как от боли, всем телом обмякнуть и забыться, оберегая себя в покое для скорой радости. Старуха повернулась в кровати удобнее, чтобы нисколько не чувствовать своего веса, и постаралась поддаться тишине — ласковой, манящей тишине, которая неслышно вынет ее, полегчавшую, из кровати и заворожит далеким-далеким журчанием.

Солнце держалось еще на виду, его золотистый свет был неярким и теплым, и старуха пригрелась от него, а пригревшись, потихоньку усмирилась, помня и не помня себя, зная и не зная, что нужно ей на исходе этого спокойно-ясного дня. Уже в который раз сегодня она задремала, и все чутко, сторожко, сейчас особенно хорошо понимая, что она дремлет, и готовая в любую минуту очнуться; ее сердце, укачав тело, продолжало дежурить, и его внимательные толчки не давали старухе забыться глубоко. И оттого, когда перед ней явилась Таньчора, старуха не поверила: память подсказала ей, что ее глаза закрыты и она не может видеть Таньчору взаправду. Но это был и не сон, потому что она не спала по-настоящему, а все время держалась на половине ко сну — нет, это слабое, измученное видение нарисовало перед ней, отходя, напрасное ожидание, от которого освобождалась усталая голова, и старуха осталась спокойной. Здесь же, в своей светлой, как сумерки, дремоте, она заново подумала о Таньчоре и поняла себя — эти ясные, звеняще-приятные мысли рождались сами собой, будто уже готовые шли со стороны, и были ей не в муку, а в утешение. В них она искала все то же — что могло задержать Таньчору? — и нашла. Таньчора, наверно, поехала не одна — со своим мужиком, а его-то и нельзя было брать с собой. Он у нее военный, а бог, однако, не любит военных — вот он увидал их

где-нибудь вместе и остановил, не разобрав, что тот военный Таньчорин, не чужой, и что они торопятся к ней, к старухе. Потом-то, наверно, он сам спохватился и отпустил их с места, но задержка произошла, ничего не поделаешь. Таньчора тут не виновата, это все из-за мужика. Но теперь-то они уже близко, вот-вот будут здесь.

Ей стало легче, душа ее вздохнула свободней, и старуха, качнувшись, поднялась в своей невеси еще выше, куда трудно достать посторонним звукам.

Она не видала Таньчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству — и три, и пять, и десять лет для нее не имели разницы и значили одно и то же: давно, дольше всех, не была дома Таньчора. Уже после нее приезжала Люся, показался после севера Илья, не говоря уже о Варваре, которая бывает каждый месяц, а Таньчоры все не было и не было. Однажды она написала, что ее мужика переводят служить на новое место, ехать туда почти мимо дома и они по пути обязательно заедут. Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заставила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не приехала. Ее мужика и правда перебросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они живут и по сей день. В другой раз, уже из Киева, его хотели перевести куда-то за границу, и Таньчора опять написала, что перед тем ему дадут отпуск и они на прощанье приедут, но в этот раз старухиного зятя отчего-то не тронули совсем и отпуска тоже не дали. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, было бы несладко. Вот так оно все и продолжалось до последнего дня.

Таньчора писала нечасто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери, и старуха, беря в руки красивый, с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания: сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Таньчора. Но она не торопилась и подолгу рассматривала письмо на свет, изучала картинку и штамп на конверте и только после этого очень осторожно распечатывала его, стараясь не повредить конверт, и вынимала исписанный листок. Сама она читать не умела и, не

читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в нее душой, зато потом начиналась пора чтения; старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил: она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда все от слова до слова сходилось, старуха успокаивалась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить свою радость и увидать Таньчору еще и во сне.

Над письмами, которые приходили от Люси и Ильи, она не имела такой власти. Ей читали их только по разу, а то совсем не читали, в двух-трех словах передавали то, что в них было, и все, и старухе ничего не оставалось, как обходиться этой малостью. Она догадывалась, что не о всех письмах ей даже говорят, и не потому, что не хотят сказать, а потому, что забывают, не знают, что сказать: просто в них нет ничего такого, что обязательно надо передать матери и ради чего писалось письмо. Люся, как обычно, наказывала: «Берегите маму», Илья торопливо и как бы в шутку спрашивал: «Как там мать дышит?» — или: «Как там у матери делишки?» — чаще всего на этом и заканчивался интерес к матери, так что пересказать его и в самом деле было непросто. От Люси бывали и длинные, подробные письма, особенно если она перед тем долго не давала о себе знать, в которых матери отводилось больше места и в которых она писала что-нибудь вроде: «Скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте» — это когда старуха отказывалась пить таблетки, говоря, что от старости таблетками не спасешься,— или: «Следите, чтобы мама зимой одевалась лучше» — как будто мать без нее не знала, что в холода по-летнему не проживешь. Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо было от них, она хотела знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего хозяйства и как вообще можно без него жить. О себе Люся и Илья писали так мало, что старуха приставала к Наде, которая читала письма, с въедливыми и дотошными вопросами, будто та что-то утаила или по недосмотру пропустила, а Надя терялась, не зная, что отвечать: где она возьмет больше того, что есть в письме? Не будет же выдумывать от себя за Илью, от которого раз в год шли коротенькие, в ладошку, писульки. Читать старухе письма от Ильи и Люси было мучением, и оно обычно доставалось Наде; Михаил на вопрос матери, что пишут, мог отмахнуться: так... ничего — и уходил. Оставалась Надя.

Едва ли старуху до конца устраивали и письма Таньчоры, но им она много прощала, к ним у нее было особое отношение. Эти

письма были специально для старухи — специально для нее Таньчора собиралась их писать и писала, специально для нее их везли и несли, а чтобы не потерялись, на конвертах, на которых рукой Таньчоры было выведено имя матери, ставили важные печати. То, что Таньчора хотела сказать ей, она говорила не через кого-то, а прямо, как бы видя перед собой мать, она не писала «скажите маме», она писала: «мама моя», и это ласково-призывное и одинокое «мама моя!» заставляло старуху замирать от счастья и страха; она чувствовала, как от этих слов по ее телу скользят прямые холодные иголки. Старуха не помнила, чтобы Таньчора так называла ее дома — нет, не потому, что не помнила, а потому, что не называла: эти слова не забудет даже самая беспамятная мать. Значит, дочь нашла для нее их уже там, на чужой стороне; старуха шепотом, одними губами произносила обращенное к ней «мама моя!» и слышала в нем такой сиротливый стон, такую боль, что ей становилось жутко и она втихомолку от себя плакала, думая, что не помнит начала слез, и говоря себе, что они пролились совсем по другой причине. Плакать в согласии с собой значило бы смириться со своими страхами, а это было еще хуже, тогда труднее было искать надежду. Надежда идет от бога, думала старуха, потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от черта, навязчивы и грубы — так зачем поддаваться им? Или она не знает, откуда они берутся?

И старуха вдруг светлела, легко, кончиками узких губ произносила те же самые слова и слышала в них только ласку, пронизанную мягким Таньчориным голосом. Потом слова эти повторялись уже без нее, без старухи, без ее губ — одним Таньчориным голосом, звучащим близко и ясно, как наяву, но все тише и тише; наконец они умолкали до полного беззвучия, но старухе и тогда по-прежнему было светло и радостно от их приветливой страсти и силы; она долго и с наслаждением ругала себя, что, как последняя грешница, перед тем услышала в них совсем чужое, не то, что в них есть, и казнилась перед дочерью за свою глухоту.

Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха никогда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару — не на что и жаловаться, но выделяла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскребышем, за которым у старухи никто не шел,— поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привыкнув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю. Всегда было так: не успевал подняться на ноги один, появлялся другой, и мать хваталась за него, а переднего отсаживала в сторону — ползи или иди куда хочешь, только не убивайся до смерти и не кричи, теперь и без тебя есть кому кричать. Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привязанная, бежала

сбоку и лепетала: «мамынька, мамынька». Вот и «мамынька» это — откуда она его взяла? В деревне как будто не было такого слова — разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, мамой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать: «мамынька, мамынька», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот новое — «мама моя!» Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того как убиваться.

Но то, что Таньчора росла последней, конечно, еще не все. И из последней могла получиться всякая. На нее больше заботы, больше сердца, а она тебе за это больше немилости. Мало ли так бывает. Нет, Таньчора сама по себе была ближе к матери, по своему характеру. Если говорить о характере, то старухин нрав скорее переняла Люся — тоже твердая и гордая, мало кому спустит, только твердости и гордости дома у нее хватало на троих. Еще девчонкой была — как надуется, три дня в сторону смотрит, ничем ее не проймешь. Какой теперь стала Люся, старуха не знала — наверно, пообтерлась среди людей, пообломалась острыми краями об острые края, научилась, что к чему. С тяжелым характером и жить тяжелей — она грамотная, должна понять, а по ней не похоже, что ей живется плохо. Спрашивать старуха не хотела, спроси — скажет «хорошо», и понимай как знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь родные сестры, а друг до дружки не достать. Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазней и выросла размазней, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову.

Таньчора не была похожа ни на кого из сестер. Она стояла как бы посередке между ними со своим особым характером: мягким и радостным — людским; она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде, а уж если ей приходилось плакать... это про нее, не про кого-нибудь, сказано: одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок — как раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем,

одному лучше другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка,— всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в сторону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства. Некому без нее было подсказать песню, ту самую, которая не зачахла, не заплелась бы в траве за бревнами, а, поднятая сильными голосами, обнесла бы своей радостью или печалью деревню от края и до края.

Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места, которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец».— «Это еще пошто?» — удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет». Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! — притворно сердилась старуха.— Мелешь че-то, мелешь, а че к чему, и сама не помнишь».— «Нет, помню. Ты у нас правда молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» — «Я не говорю, что плохие».— «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто — так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости».— «Не присбирывай!» — перебивала ее мать. «Я не присбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».

Ее пугали такие разговоры, но они случались нечасто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы

погреть, когда захочется, душу. И правда — какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет себе ее дочь.

И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.

В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, самой ей было не по силам отправиться к Таньчоре, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туда даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь — тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст — не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья — мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу без слов можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.

Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.

Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала — сначала чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.

Ее воротили голоса, она услыхала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и ловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха

теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку, — и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.

Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже доставали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси кому-то выговаривал:

— Как вам не стыдно?! Мать чуть живая лежит, а они как с ума сошли!

Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья. Собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.

И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:

— Таньчора!

До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:

— Матушка наша проснулась.

— Таньчора! — снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.

— Она еще не приехала, мама.— Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся.— Таньчора еще не приехала,— повторила она, видя, что старуха не понимает.

Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова — голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света,

которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:

— Где? Где она?

Она застыла, прислушиваясь; глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.

— Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она,— спокойно сказала ей Люся.— Пойми, пожалуйста: мы сами ничего не знаем.

— Ей-богу, матушка, мы ее не видали.— Для пущей верности Варвара прижала руки к груди.— Я врать тебе не буду. Не видали.

— Приедет,— бодро и даже как бы радостно подхватил Илья. Скорей всего, он и в самом деле был рад, что разговор с него и Михаила переместился на другое.— Сегодня не приехала, завтра приедет — ага.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она?

— А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет — сама расскажет.

— Вчерась вы мне так же говорели, а где она? — потерянно, как в бреду, повторила старуха и не услышала себя, потому что слова эти, не найдя ответа в первый раз, вернулись обратно и, входя, виноватым эхом отозвались в ней сами. Что теперь об этом спрашивать? Зачем? Теперь она знала: нет, не приедет. Время, которое было ей отпущено, вышло. Больше ждать ни к чему. Не приехала Таньчора. Не приехала. Так и не увидела ее старуха.

Она опустила голову на подушку и заплакала.

— Ну вот,— хмыкнул Илья.— Начинается.

— Матушка! Матушка! — завозилась Варвара.

В старухе вдруг что-то оборвалось, что-то с коротким стоном лопнуло, и стон этот, не успев заглохнуть, неожиданно переиначился во вчерашний звон, запомнившийся ей еще в девичестве и звучащий мягкими благовестными ударами, не прерывающими, а, наоборот, подхватывающими один другой. Старуху потянуло к нему так сильно, что она не могла и думать о том, чтобы сопротивляться. Поначалу идти надо было немного, совсем рядом, но потом звон стал отдаляться, уводя за собой старуху все дальше и дальше, но звучал все так же чисто и ясно, чтобы она не потеряла в него веру и знала, куда двигаться. Она едва помнила, что перед тем ей почему-то было больно и она плакала от какой-то потери, теперь боль утихла, и идти за звоном было легко и радостно, теперь старуха плакала от радости, оттого, что все так хорошо кончается.

Старуха плакала, не закрывая лица и не трогая лежащих по бокам рук. Глаза ее были открыты, из них сочились редкие темные слезы и медленно стекали по лицу. Она плакала неподвижно и молча, без единого звука. Только катились слезы. Лицо ее было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошеломило Варвару, сидевшую возле матери,— опомнившись, она вскрикнула и, наваливаясь на старуху, изо всех сил принялась ее трясти. Подскочила Люся, подошел, заглядывая из-за спин сестер, Илья. Михаил приподнялся и опять опустился на свое место.

Старуха застонала. Люся наконец оторвала от нее Варвару, и старуха повела в сторону головой, умоляя не трогать ее. Чтобы оттеснить от матери сумасшедшую Варвару, Люся присела рядом со старухой, которая пошевелилась сама, своим движением, и отодвинулась от дочерей к стене, ладонью утерев с лица свои молчаливые слезы.

— Ты что это, мать, так пугаешь нас? — сказал Илья, возвращаясь к столу.— Я же тебе говорю: сегодня не приехала, завтра приедет — ага. Подождать надо.

— Мало ли что могло задержать ее,— подхватила Люся и поморщилась: она и сама не верила в то, что говорила, но все-таки продолжала: — В самом деле подождем, теперь нам торопиться некуда.

Старуха слышала и не слышала их; она слышала слова, которыми они старались ее подбодрить, различала, кто их произносит, чей голос, а то, что было в этих словах, не доходило до ее понятия. Она пропускала их мимо. Она лежала, глядя перед собой невидящими глазами и чувствуя внутри себя горячую пустоту, и помнила, что она лежит тут только потому, что еще не успела умереть. Но больше ничего не держало ее здесь, никакая причина. Теперь оставалось потерпеть, пока душа, жившая все это время в ожидании и надежде, снова станет ясной и примирит старуху со случившейся потерей, облегчит ее от страданий и жалости, чтобы не оставить в себе ничего лишнего — ничего, кроме себя. Она не хотела моментального освобождения, зная, что все выйдет так, как и должно быть, что ее судьба и без того уже прикатилась к своему месту, где ей осталось лишь остановиться.

Они говорили и говорили, думая, что матери стало легче и что это они помогли ей своими словами. Она не отвечала им, но частое упоминание Таньчоры, подталкивая старуху раз за разом, постепенно воротило ее оттуда, где она оставалась одна. Ее удивил электрический свет, но он напомнил ей о свете, в который не уложилась Таньчора и который уже не вернуть и не добыть никаким электричеством. И сразу же в ней ожила боль. В тревоге, не жела-

ющей терпеть нисколько, ни одной капли, старуха встрепенулась и увидала их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил... Таньчоры не было. Ее и не могло тут быть.

— С ей че-то стряслось.— Казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только теперь, повторив, испугалась.— С ей че-то стряслось,— громче и настойчивей сказала она.— Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

— Ты что это, мама?! — удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся.— Ты что это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

— Омманываете, омманываете.— Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы.— Я знаю, омманываете. Скрываете от меня, чтобы я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не будет завтри. Вы думаете, я совсем из ума выжила, ничего не понимаю.— С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она и в самом деле походила на сумасшедшую.— Да Таньчора первая на крылах сюда к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду...

— Перестань, пожалуйста, мама! — прикрикнула Люся.— Ты хоть думаешь, что говоришь? Никто тебя не обманывает — понимаешь ты или нет? Мы сами не знаем, где твоя Таньчора.

То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, заставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

— Когда с ей че доспелось, мине ить и на том свете смерти не будет,— жалобно сказала она.

— Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось.

Старуха убрала из-под себя руку и тихонько опустилась в кровать, в свою лежню. Кровь торопливо отливала от ее лица, и лицо на глазах бледнело все больше и больше. В тишине хорошо слышно было, как с тяжелым присвистом дышит Варвара.

— А там, где она тепери живет, там война шла или нет? Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

— В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от,— с горькой правотой закивала себе старуха и запричитала: — Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль теперь выберешься?! Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди,— перебил ее Илья.— Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?

— Опять «где она». Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается — ага.

— Ладно, хватит.— Михаил пристукнул ладонью по столу и, качнувшись, поднялся.— Не приедет ваша Таньчора, и нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтоб не приезжала.

Старуха вздрогнула.

— Че он говорит? — не поверила она.

— Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтоб не приезжала. Незачем ей сюда было ехать.

— Ой, что надела-а-ал! — ахнула Варвара.

— Когда это ты успел дать ей телеграмму? — быстро спросила Люся.

— Как мать проснулась, так и дал.

— Почему в таком случае ты до сих пор молчал?

— С этой пьянкой у меня из головы все вылетело. Забыл.

— А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму?

— Точно помню.

— Может, тебе это тоже по пьянке, как ты выражаешься, приснилось?

— Нет, не приснилось. Отбивал — можете на почте проверить. Разговор сейчас об этом зашел — у меня и всплыло, что отбивал.

— Ну, вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось,— обрадовался Илья.— Жива, здорова, чего и нам желает — ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное — не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.

— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии.— Он пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал.— Ты пошто так сделал-то, Михаил?

— Пошто, пошто... Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.

— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? — Старуха закашлялась, обида перехватила горло.— Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне че-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне ниче от ее не надо, никаких подарков, ниче — только узнать ее, поглядеть

под конец, какая она тепери стала.— Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон.— А ты че натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.

— В самом деле, как ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, один решать, ехать Татьяне или не ехать? — раздраженно спрашивала Люся.— Ты ведь тогда как будто еще трезвый был, значит, должен был понимать, что делаешь.

— Прямо ни стыда ни совести у человека! — подхватила Варвара.

Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

— Он ить нарочно это сделал,— медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать.— Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.

— Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать, что ты выдумываешь?!

— Нарочно, нарочно.— Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее.— Ты думаешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Че с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.

— Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал шаг к старухиной кровати.

Варвара закричала:

— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.

— Городишь, говоришь? — с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты.— А не помнишь, как ты напужал меня?

— Ничего не помню.

— Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас тепери только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? Всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял».— «Жили,— говорит,— а тепери нельзя, я сам в газетке читал».

— Это средняя продолжительность жизни у нас в стране,— догадалась Люся.— Это он, наверное, о ней говорил.

— Как это?

— Ну как... Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто...

— Не надо мне твои девяносто — куды мне их?

— Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?

— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она мне говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — че там говореть.Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши рази че путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» — «Однако, правда, нету».— «От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле запужал. «Не веришь,— говорит,— не верь, вскорости сама увидишь. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюды приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя — я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой — две старухи — то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.

— Ишь, че творят, ишь, че творят! — всплеснула руками Варвара и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это че ж такое на белом свете творится?!

— Когда я тебе, мать, так говорил? — Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала и мать послушно опускалась в кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что рассказала

старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил:— Когда я тебе, мать, так говорил?

— Он и не помнит. Ниче не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.

— Правда, не помню.

— Что это такое, Михаил? — Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: — Что это такое? — я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как назвать то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что — защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.

— Слушай, матушка, слушай,— теребила старуху Варвара.— Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он че думает — на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.

— В конце концов можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо — обойдемся.

— А что?! — Михаил вдруг вскипел.— А что, может, кто-нибудь из вас заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? — Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся.— Что ж вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я такой-сякой, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? — Он шагнул к Люсе.— Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить? А корову продашь — деньги будут. Матери много не надо — видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил,— что ты стоишь?!

— С ума сошел! — задохнулась Люся.— Ты сумасшедший! Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу:

— Перестань сейчас же, перестань! Не позорь нас. Уйди! Он оттолкнул ее:

— Тебя здесь еще не хватало.

— Не слушайте его, не слушайте! — кричала Надя.— Не верьте ему.

Михаил опять засмеялся и почувствовал, как развеселилось в нем терзавшее его похмелье, как от радости оно взвыло и бросилось в пляс.

— Я с ума сошел — все ясно. А матери нельзя находиться с сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь? — весело спросил он у Варвары.— Уж тебе-то корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней, с дочерью всегда лучше, дочь не напьется, не обидит. Ну? Соглашайся, соглашайся — что ты молчишь?

— Да у нас жить негде,— растерялась Варвара.— У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я бы взяла.

— Жить, говоришь, негде? И корову, значит, поставить тоже негде?

— Нет, корову есть где. В стайке.

— Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь — вон она,— он показал на Люсю,— лет через пять или десять приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки. А я ей подвою. Да я и не позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-человечески.— Он повернулся к Илье: — А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та будет за ней ухаживать. А то ты все на работе да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас.

— Ты перепил, Михаил,— нервничая, сказал Илья.— Ты сам не понимаешь, что делаешь,— ага.

— Неужели ты не понимаешь, что маму сейчас нельзя никуда трогать? — крикнула Люся.

— Значит, никто не желает? — Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами.— Никто. И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно.— Он набрал в легкие воздуха и прошипел: — Тогда идите вы все от меня, знаете куда... И не говорите мне, что я такой да разэтакий, не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь.

Он бросился в дверь.

В тяжело упавшем напряженном и горьком молчании старуха взмолилась:

— Господи, отпусти меня, я пойду. Пошли к мине смерть мою, я готовая.

В бане Михаил трясущимися руками достал в темноте из печки бутылку, нашарил на курятнике стакан. Придавив его сверху пальцем, он лил из бутылки до тех пор, пока водка не потекла через край, потом сплеснул лишнее на пол, залпом выпил и повалился на постель, на которой перед тем спал Илья.

10

В ту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Таньчора, придется Михаилу давать ей еще одну телеграмму, чтобы ехала, никуда от этого не денешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно ей не увидать Таньчору. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила,— обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Таньчору, и смерть была бы чище и светлей — на это старуха и рассчитывала. Ну да ладно — что теперь душу травить, ее не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит. Пора.

Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет. Улеглись в этот вечер рано, сразу же после позорища, которое учинил Михаил, но уснуть не могли — ворочались, вздыхали. Не так-то просто выкинуть из головы все, что он наговорил, и забыться — это не кнопка, которой включают и выключают электричество: нажал — светло, нажал — темно. Уснула, может, только Нинка, но и та что-то причмокивала во сне — или улеглась с конфеткой во рту, или за день до того натрудила свой язык сладким, что он еще и теперь не найдет себе места.

Старуха много раз думала о смерти и знала ее, как себя. За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью: сначала уснет, как все люди, чтобы не пугать смерть открытыми глазами, потом та тихонько прижмется, снимет с нее короткий мирской сон и даст ей вечный покой.

Это неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами. Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки — сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в сво-

ем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом.

Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось. Старуха не будет сопротивляться, а та, другая, не станет злиться на нее за то, что она так долго водила ее за собой: она делала это не нарочно и никогда не боялась смерти — разве только по молодости, по глупости,— а так всегда почитала ее избавлением от мук и позора. И если она до поры не звала ее, то и гнать от себя тоже не гнала и больше других жить не собиралась — жила, как выходило. А теперь время звать. Хватит.

Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила. А он-то, бог-то, где был, куда смотрел? Грех, грех, когда ребенок, только-только родившись и не успев разобрать, что с ним, почему он видит в глазах свет и чувствует в животе голод, принужден тут же и потерять себя, не имея за собой даже капли вины, чтобы с ним можно было так обходиться. Зачем тогда его обманывали — рожали? Зачем показали ему белый свет и дали человеческое понятие?

Она и сама похоронила пятерых и уложила их рядом друг с дружкой, чтобы они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишечка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услыхала, что он откинулся, но еще посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок ее толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась— а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, он сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтоб возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человеческий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог и взял. Но сюда эта поговорка не подходила.

Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти больше, чем он был,— как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех.

Еще троих старухе не пришлось похоронить — этих убила война. И то, что мать не видела их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверно, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась — принесли три похоронных, на каждого по бумажке. Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки.

Так что ей есть от кого уходить и есть к кому уходить. Кроме своих ребят, там у нее отец, мать, сестры, братья. Из большой отцовской семьи она одна задержалась здесь, последний брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому; стояло лето.

Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому времени она уже привыкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил; человечью дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил и — отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не проходила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья — и то ему не так, и это не по нему. Что бы она ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить его попреки, которые сыпались и днем, и ночью. Потом дурь вдруг поворачивалась на другой бок: он умолкал и мог не сказать ни слова хоть полгода. Хорошо еще, что дома он находился мало: то уходил на охоту, то уезжал на заработки, то на зиму устраивался возить из города в сельпо грузы, а тогда, до войны, их возили на конях, ездили подолгу.

В его кончине старуху больше всего поразило то, что ему, побывавшему где-то возле самой войны, где смерть поголовно перешла в смертоубийство, удалось воротиться домой и в тишине и покое принять собственную смерть. Она нашла в этом

для себя тайный знак и сразу примирилась со стариком. «Господи, прости нам прегрешения наши...» — начала она молитву, когда увидала, что он отошел. Она не сказала: «его прегрешения», она сказала: «наши». И слезы ее, скорбь ее были настоящими. Как-никак он был отцом всех ее ребят — и мертвых, и убитых, и живых. Что правда, то правда: ей есть к кому уходить и есть от кого уходить.

Она прислушалась: где-то за окном позванивало на скотине ботало, по избе, сталкиваясь волнами, ходило дыхание людей, а спят они или не спят, было не понять. Нет, еще рано, лучше не торопиться.

Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрос и стал понимать, что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло — словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу же увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, виновато подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой, приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая старуха исчезла.

И тогда, никого не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо — туда, где звонят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут — до следующего раза. Земля сровняется, и наступит утро. Живое утро.

Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видала она в своей жизни? Только одно и знала: ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. Восемьдесят годов, как видно, одному человеку все-таки много, если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить, но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы — все они, подгоняя друг друга, прошли одинаково в спешке: по десять раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась — уже высоко, уже низко, а она все еще не поправилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе — вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей»,— подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое, а им, сколько ни делай, не видно было ни конца и ни края. Вот так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разная — вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная: одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха ёще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь давно уже чиркают электричеством — все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поочнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами — смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно.

Но она не жаловалась на свою жизнь, нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна,— двух бы не хватило. А старуха жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела — и все это там же, где роди-

лась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому — зато она их слушала, когда доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь — не змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил — для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь — своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась — будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением — мучительной радостью, она не знала, где они сходились и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем.

Старуха лежала, слушала — слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, рясным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам — и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей.

Она вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца. Он не был пьян от вина, его опьянило удивление, что он, сам почти еще парнишка, стал отцом и принял участие в продолжении человеческого рода. Он сказал:

— Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь.— И добавил с затаенностью и горечью провидца:— Вот так оно все и идет.

Он только тогда понял, что вот так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи. И тогда же как следует,

по-взрослому и наедине сам с собой он понял, что смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба. И это заставило его пойти к матери и сказать ей то, что она знала давным-давно и думала, что он знает тоже.

В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек — это воспоминание о ком-нибудь из ребят, здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему,— это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать.

Вся жизнь тут, в этих окошках. Растворяй их и гляди, чем ты, старуха, была богата, какие воспоминания, сохранившись, пошевелят после тебя послушные ягодные кусты на берегу реки, ветки березы на опушке леса или пахнут кому-то в лицо, вызвав в нем смутные и тревожные предчувствия, для которых в нем ничего не было. Только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это еще не твоя жизнь, не твои воспоминания, перейдя в шорохи, в шепоты, в неясные распадающиеся звуки, потревожили ее сон, не твои — чужие.

Старуха пошевелилась, расправляя затекшее тело, и кто-то в той комнате, словно отзываясь ей, прося, чтобы она не забыла о нем, зашевелился тоже. Почему-то она подумала, что это ворочается Илья — он сегодня спал в избе.

Вот и Илья... Что ей выбрать о нем из долгой материнской памяти, на что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания должны быть тихие, светлые, согласные; нехорошо, если хоть какая-нибудь горечь, какой-нибудь неверный крик, бывавшие прежде, потревожат эту последнюю прощальную ночь. Скоро, скоро время.

Вот и Илья... Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехонек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту. Как-то заставили его, еще мальчишку, побыть возле подводы с хлебом, собранным на мельницу,— слышат: война, пальба. Это Илья, вместо того чтобы сидеть на возу и отгонять куриц хворостиной, забрался на амбар и давай оттуда выцеливать из ружья, ни за что ни про что порешил поросенка и двух молодок. В другой раз, уже парнем, вытворил тоже не лучше. Приехала в колхоз откуда-то какая-то комиссия с проверкой, а Илья да двое ребят с ним пахали за Верхней речкой зябь. Только комиссия показалась, он разделся догола и в чем мать родила по-

хаживает за плугом, посвистывает. В комиссии были женщины, они побоялись к нему подступиться, так ни с чем и повернули, не посмотрев, хорошо ли пашут, а после, видно, отыгрались на председателе, потому что он накинулся на старуху, будто это она могла научить сына ходить по борозде нагишом.

Но сейчас старухе вспомнилось другое. Илью тоже брали на войну, только уже под конец, и воевать ему не пришлось: пока его там чему-то обучали, война, слава богу, прекратилась. Провожая его, об этом, понятно, еще не знали.

Стоял сухой, ветреный перед зимой день; готовая подвода ждала в ограде, дорожный мешок был уложен, ворота распахнуты — осталось проститься. Илья — маленький ростом, прибитый и одновременно возвышенный отъездом на войну, главный, уже наполовину чужой в эту последнюю минуту — подошел к матери. Она перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хорошо помнит, что он не просто вытерпел его, жалея мать, а принял, согласился, это было у него в глазах, которые дрогнули и на миг засветились надеждой. И старухе сразу стало спокойней за него.

Воспоминание об одном отъезде потянуло за собой другой — они не были похожи и все-таки, видно, в старухиной памяти всегда находились рядом.

Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода, и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было — не продохнуть. Люсю окружили подружки, завидуя ей и жалея ее, возле них же крутилась Таньчора, а старуха одна сидела на низком, вросшем в землю бревне, неподалеку от девчонок и тоскливо, покорно караулила, когда над островом покажется пароходный дым. Наконец он показался, но остроглазые девчонки увидали его раньше и сразу подняли гвалт, завскрикивали, теребя Люсю, что-то наказывая ей, перебивая друг дружку. Старуха сидела молча и подавленно.

Пароход пристал, и Люся торопливо стала совать подружкам руку, последней подала матери. Старуха пожала ее горячую растерянную ладошку и подтолкнула за плечи — иди, и сама тоже отошла чуть в сторонку от толпы, где бы ее лучше было видно. Трап быстро убрали, пароход зашевелил колесами, оттолкнулся, и Люся вместе с ним отодвинулась от берега, поплыла. Она стояла у борта, за белой металлической решеткой, и махала рукой подружкам — мать она почему-то не видела, хоть старуха два или три раза крикнула ей, а потом, чтобы броситься дочери в глаза, начала, как блаженная, подпрыгивать и выбрасывать вверх руки.

Уже с накренившегося борта, готового черпануть воду, пассажиров погнали на другую сторону, уже пошла Люся... Старуха готова была заплакать. И вдруг, оглянувшись в последний раз на

берег, Люся оттолкнула парня в тельняшке, который выпроваживал ее со старухиных глаз, бросилась обратно и истово, отчаянно, горько замахала матери сорванным с головы платком. Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы. Старуха кинулась ей навстречу, забрела по колена в воду, но пароход уже разогнался, зашлепал в полную силу, и вслед ему, слепя, подгоняя, превращая его в сияющую игрушку ударило сзади солнце.

У старухи тогда было такое чувство, что они простились навсегда.

Неожиданно, перебивая ее воспоминания о ребятах, перед ней высветился дальний-дальний день — и тоже с рекой.

Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха — нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода. Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что она не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуту на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действа вечной жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди.

Еще и теперь при воспоминании о том дне у старухи замерло сердце: было, и правда было, бог свидетель.

Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели за то время, которое она прожила на свете, красота

совсем нисколько не увяла и не померкла? Можно ли, переплыв на противоположный от деревни берег, где она тогда была, застать ее там хоть раз в том же виде, в той же свежести и радости? Столько всяких на земле перемен — неужели одна она осталась прежней?

Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней.

Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проулке, где Варька, стоя на коленях, щепкой раскапывала землю.

— Ты че тут делаешь? — спросила ее мать.

— Рою.

— Зачем?

— Тут курица рыла, а собака прибежала и согнала ее. А я увидела. Ты меня не прогонишь?

— Нет, не прогоню.

— Тогда я посижу, порою.

Мать посмеялась про себя и ушла. Когда Варька воротилась домой, мать поинтересовалась:

— Нашла ты че-нить там, где копалась?

— А я ниче не искала, я так рыла. Только меня бык бодучий согнал. Иди прогони его и порой.

— Зачем?

— Так. Рой, и все. И увидишь.

— Че увидишь?

— Не знаю. Че-нибудь увидишь. Интересно.

Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданно желание сесть где-нибудь в поле на корточки и рыть по Варькиному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, отыскивая то, что никто еще в ней не знает. Смеются: «старый да малый», имея в виду, что один выжил из ума, а второй еще не нажил. Правильно, старый да малый — только они как следует и способны чутко и остро удивляться своему существованию, тому, что окружает их на каждом шагу.

Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах. Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, недвижно — все убрано сном, все в его глубоком, колдовском оцепенении.

И старуха, содрогнувшись, решила: пора. Самое время, ночь перевалила на вторую половину, больше ждать нельзя. Сон сейчас крепкий, никто не услышит, не помешает. А ночь веселая — тоже хорошо, она и проводит.

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло. В ней успело шевельнуться и тут же погасло слабое удивление своей невесомостью, тем, насколько легко, как в воздухе, поддалось движению ее тело. Оно пока еще было тут, с ней, и она слышала, как сердце, обманывая, посылает ему свои токи. Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся.

Глаза у ней все еще были открыты, она по-прежнему держала в них мертвенно-бледный ночной свет — последнее, что осталось ей видеть. Пусть он плотнее накроет все, что бывало в глазах раньше, тогда сверху легче будет принять тьму. Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет и всегда имея запас времени впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну, а в следующий не будет ни того, ни другого. После нее останутся на свете ребята, а у самой старухи никого и ничего не останется, даже себя. Интересно, куда денется ее жизнь? Ведь она жила, она помнит, что жила, это было совсем недавно. Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли довела до конца? Ну да, рукавички из нее не сошьешь — это правда. Помянут словом, кивнут в ее сторону, и все — была и быльем поросла. А потом и поминать забудут. Тоже правда. А что ей еще надо? Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась? А оставила после себя другие жизни — хорошо это или плохо? Кто скажет? Кто просветит? Зачем? Выйдет ли из ее жизни хоть капля полезного, жданного дождя, который прольется на жаждущее поле?

Как невнятный, неразборчивый ответ, в дальнем темном углу скрипнуло, и старуха осеклась: это за ней.

И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз. Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно и она не богохульствует. Это было давным-давно, и ночью над землей разразилась гроза — с молнией, с громом, с проливным дождем, вокруг

все гремело и полыхало, разверзая небеса, с которых стеной падала вода. Никогда больше в свете не случалось похожего страха; вполне может быть, что та гроза и убила ее, потому что больше она ничего не помнила, ни до, ни после, только грозу, но и это воспоминание мелькнуло перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.

Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела прогневить этим непрошеным воспоминанием, она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало.

Только теперь старуха закрыла глаза — сразу, не сделав последнего прощального взгляда. Перед глазами в захлопнувшихся створках слева направо поплыли дымные извивающиеся колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать ее перед новым причастием. Она вытянулась и замерла, напрягшись в ожидании первого щекотливого прикосновения, от которого по телу начнет разливаться скорбная и усыпляющая благость. Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не менялось. Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала.

Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут. Может, смерть думает, что она еще не готова,— пусть знает. Для верности она простонала еще раз, бередя жалобным звуком ночную тишину: не бойся, спускайся, я жду тебя.

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а можно сказать, гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе. Значит, ей теперь и смерти не выйдет? Нет-нет, так не бывает. Не умирает только тот, кто не рождается. Да и причина тут, наверно, все-таки другая. Уж со своим-то делом, для которого она существует на свете, смерть найдет как справиться.

Старуха дышала уже бестолково, тревожно. Только что уверовала, что очистилась от всего, чем живет человек, и вот на́ тебе, начинай все сначала.

Она одумалась: надо успокоиться, остыть. Что-то, собравшись умереть, она делала не так. Не смерть отступила от нее, а скорей всего она сама помешала смерти и помешала тем, что хотела взять

ее работу на себя. Кому это понравится? Долгих восемьдесят годов та ждала своего единственного праздничного часа, на десять раз перебрала, что за чем пойдет, в каком порядке — у нее свои планы. Разве можно было в них вмешиваться? То-то и оно.

Она решила: надо уснуть. Для того и ночь, чтоб спали. А там, когда старуха не будет ни видеть и ни слышать, смерть подступит к ней смелее, уберет самые больные связи, которые держат старуху с людьми и миром, и тогда, может статься, разбудит, чтоб отойти ей в памяти. Ночи много, но еще не поздно, до утра успеть нетрудно.

Теперь старуха затаилась в постели для того, чтобы погрузить себя в обыкновенный человеческий сон, которым пользовалась в своей жизни тысячи и тысячи раз. Глаза она так и не открыла, только дала им послабление, чтобы они лежали легко, свободно и не помышляли о свете. Это им ни к чему. Тихонько трогая спиной кровать, она стала укачивать себя, ее губы нашептывали невнятные, под песню, слова, которыми баюкают детей. Она была совсем близко от забытья, ей чудилось, что ее бережно оборачивают мягкие серые материи, в которых она тонет все больше и больше, с удовольствием отдаваясь их приятной мягкой толще и завораживающему шуршанию, но что-то вернуло ее обратно, а потом безжалостно возвращало снова и снова.

Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре настолько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее в него войти. Из-за одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, кроме лежания, ни на чем не настаивая,— тогда, быть может, от безделья само собой ее сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и примет ее за свою. Вот хорошо бы. Надо не торопиться и держаться так, будто времени у нее впереди сколько угодно и ночь только начинается.

Она стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила расходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее почти сразу подхватила сладкая, мягкая волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений,— как вдруг бесстыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух. Это было так неожиданно, так некстати, что у старухи сам собой вырвался острый сдавленный стон и раскрылись глаза — она сейчас же захлопнула их, но уже поняла, что поздно, напрасно. Все пропало. Не спаслась. Если спасение даже и было рядом, теперь оно далеко. Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый...

Все вышло зря. Больше старухе надеяться было не на что.

Уже понимая, что делает, она открыла глаза, и ее охватил стыд. Другого такого позора она не знала: распрощалась, сказала последние слова, утешила себя последними воспоминаниями, застелила глаза мраком и — обратно. Кто же так поступает? Нет, она не испугалась, она никогда этого не боялась, перед собой ей лукавить нечего. Что до нее, то она умерла, и, как, на чью жизнь, на чье дыхание будет пробавляться ее грешное трусливое тело, оставившее в себе способность шевелиться, ей неизвестно.

Ночь гасла, звездный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Петухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло. Все это вошло в старуху само собой, без всякого ее желания или нежелания, как в пустую открытую посудину, забытую не на месте. Она лежала потерянно и беспомощно, в полном оцепенении, и все на свете ей теперь было безразлично.

Она лежала так долго, до самого утра. А когда взошло утро и в старухину комнату набралось достаточно света, она очнулась и скинула с себя одеяло. Потом села. С отвращением глядя на свои ноги, она натянула на них чулки и сунула в шлепанцы. Все это старуха научилась делать еще вчера. Но сегодняшнее утро не походило на вчерашнее. Вчера она радовалась наступающему дню, возлагала на него надежды, думала о Таньчоре. И ничего из загаданного не сбылось. Ночь и та отказала ей в спасении, оставила без сна — уж этого-то добра у ней всегда хватало на каждого. На старуху не хватило. Она опостылела всем, никому не нужна — зачем тогда и ей считаться с собой, если никто с ней не считается?

Ухватившись за спинку кровати, старуха попробовала подняться в рост. Ноги под ней подогнулись, но она не пожалела их: раз не захотели умереть, делайте что вам велят, не прикидывайтесь бедненькими, все равно никто вам не поверит. Повиснув на руках, она выпрямила их и в отчаянном усилии заставила сдвинуться с места — идите. Если не умерли — идите, как ходят все живые ноги, и не вздумайте подломиться. И-ди-те! В них заскрипела, застонала каждая косточка, но и это ее не остановило. Скрипите сколько вам надо, но двигайтесь. Хватит вас слушаться, слушайтесь теперь вы.

Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу. Со стороны, наверно, показалось бы, что старуха ползет по стене — она почти лежала на ней, раскинув руки, которые искали, за что бы ухватиться. Через порог она перелезла на четвереньках — иначе его было бы не взять. У крыльца был еще один порог, пониже, но старуха уже не поднималась — так, на четырех подпорках, как собака, и вылезла на улицу, хоть лай или вой. Силы ее были

на исходе, и она кое-как с большим трудом усадила себя на верхнюю ступеньку.

Утро поднималось высокое, ясное, тугое. На небе, особенно в той стороне, которую могла видеть старуха, еще до солнца густо выступила синяя краска, и предутренняя муть утонула в ней. Было рано, но лес уже оправился ото сна, стоял легко и свежо, отличая дерево от дерева, даже поверху зелень не сливалась в одно, а вычерчивалась мягкими живыми линиями. С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю, двигаясь быстрыми, согревающими шагами. И впрямь было прохладно, с реки доносило настоявшейся за ночь сыростью, в огороде холодно поблескивала на листьях роса. Но утро менялось, двигалось в свою сторону: только что казалось неподвижным, ленивым, серым, а уже высветилось до дня, заиграло, заходило в нетерпеливом детском ожидании, в небе узкими столбами встали радужные полосы — и правда, скоро после этого на глазах у старухи взошло солнце, и земля счастливо, преданно озарилась.

Старуха и сама не знала, зачем она вылезла на улицу. Может быть, надеялась, что где-нибудь по дороге, не выдержав нагрузки, оборвется сердце и дело тем самым можно будет еще поправить. Нет, не вышло и тут. Выбралась. Она сидела одиноко, стыло, безучастно смотрела в огород, в лес — на что натыкались глаза,— смотрела и ничего не видела, не находила. Она походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна. Но солнцу старуха поддалась; она была в тонкой постельной рубахе и озябла до дрожи, даже скупое, чуть достающее тепло было ей кстати. Не полено — какой-никакой, а человек, тело, оказывается, еще узнает, что холод и что не холод. И все-таки этот день казался ей лишним, чужим, она с самого начала не хотела и боялась его: если не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то предстоит еще вынести днем. Зря ничего не бывает.

И она сидела, ждала.

В сенях зазвенел подойник — вышла Надя. Она никак не ожидала найти здесь старуху и с испугу подалась назад.

— Мама! — Невестка звала ее мамой.— Ты как тут?

Старуха, обернувшись, услышала ее и кивнула: тут.

— Как ты сюда выбралась?! Ты же замерзла. Давай я тебя отведу обратно.

Отказываясь, старуха решительно покачала головой: нет.

— Но как же...

Надя бросилась в избу, но сначала заглянула в старухину кровать — она в самом деле была пустая — и только потом сняла с вешалки и вынесла старухе фуфайку.

— Как же это ты додумалась? — не могла опомниться она.— А все спят, не знают. Может, разбудить их?

— Не надо,— сказала старуха.— Ты иди дои. Я посидю тут.

До двора Надя раза два или три оглянулась на свекровь — сидит!

Солнце уже оторвалось от леса, вышло в чистый, готовый для него простор, держась чуть справа, как вчера и позавчера, десять и двадцать лет назад. Оно все еще было неяркое, четкое и не слепило глаза. Росы в огороде, казалось, даже прибавилось, горящими, заманчивыми искрами она блестела повсюду. Деревня просыпалась, над крышами поплыл дым, по улице тяжело и сыто, содрогая землю, брел скот, хлопали в избах тугие двери, раздавались первые, хорошо слышные поутру голоса.

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, как из-под земли, явилась Мирониха. По своей привычке смотреть себе под ноги, а не вперед, она чуть не столкнула старуху с крыльца и от удивления присела, всплеснула руками:

— Это, старуня, ты али не ты?

— Я,— сказала ей старуха. Она как будто не обрадовалась даже Миронихе, голос у нее был тусклый, слабый: ее спросили — она ответила.

— Вылезла?

— Вылезла.

— Дак ты, старуня, моить, за хребет седни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там седни лежит. А она со своей кровати уж он куды ухлестала, на волю.

— Не умерла,— сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — В голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным.— Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет.

— Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

— Не забаивайся.

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор: Миронихи ночью с ней не было, она не поймет, а разве можно объяснить,

что чувствует человек в смертный час и что чувствует он потом, когда, приняв исповедь, смерть обманывает его. Поэтому старуха спросила:

— Ребяты-то твои ниче не пишут?

— Дак ты только вчерась у меня это спрашивала,— удивилась Мирониха.

— Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали — откуль я знаю?

— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и читать буду.— Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь над одной собой.— Кака така лихоманка на их напала — письмо мне отправлять?

— Раньше так бывало, — сказала старуха. — Кто где родился, там и пригодился. А теперича никак на месте не держатся. Ездют, ездют, а куды, зачем?

— Ниче мы, старуня, с тобой не понимаем.

— Моить, и не понимаем. Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут — грамотные, толковые, с понятием, че к чему в мире деется. А мы с тобой заблудилися. Теперичи другой век идет, не наш.

— Однако что так, старуня.

— А пошто не так? Так. От помяни мое слово.

Они помолчали. Мирониха вздохнула и поднялась:

— Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.

— Посиди маненько.

— Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы живут. Делать нечего — надо туды бежать.

— Не дойдешь ты, девка, за хребет.

— Дойду не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?

— Упадешь ты там.

— Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу — и воды некому подать.

— Ты бы сама им написала.

— А че им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, старуня, пиши, не пиши... И грамота у нас с тобой одинакая. А они, видно, хорошо живут, раз не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы.

— Написали бы.

— То-то и оно.

Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

— Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ниче не выдумывай. А как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, побормочем.

— Не упади там.

Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удержала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг.

Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не простилась с Миронихой, со своей единственной во всю жизнь подружкой, что не было у нее того, что есть теперь,— чувства полной, ясной и светлой законченности и убранности этой давней и верной дружбы.

Старуха знала: больше они не увидятся.

Приходилось жить еще день — лишний, ненужный.

11

Обратно в избу старуху привела Надя — не привела, а, можно сказать, принесла на руках: ноги под старухой не держали совсем. Опять она лежала в постели, поглядывая перед собой печальными, виноватыми глазами и осторожно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг; ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права — ни смотреть, ни говорить, ни дышать: все было как ворованное. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поохали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна. Заглядывали, правда, часто — то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта понравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню вместе с последними сообщениями о том, что мать встала на ноги. Илья к тому времени успел подогреть себя, голова его розово, жарко светилась, распространяя вокруг сияние, глаза вспыхивали внезапной, отчаянной веселостью. Ему не терпелось что-нибудь делать, в чем-нибудь участвовать, а делать совсем было нечего, поэтому он снова и снова шел к матери и повторял:

— Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать,— не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом.

Позже всех к ней зашел Михаил, старуха была одна. Он сел на

то же самое место у стола, что и вчера перед скандалом, и закурил, делая быстрые, жадные затяжки. Лицо у него против обычного налилось нездоровой, горячей чернотой, глаза припухли. Он курил и, вздыхая, отдыхиваясь от наваливающейся тяжести, все время посматривал на мать, чего-то ждал, на что-то надеялся. До старухи достал дым, и она, хватаясь руками за грудь, мучительно закашлялась: сухие, натуженные звуки, казалось, раздирали ее горло. Михаил торопливо загасил папироску и вышел. Они так и не сказали друг другу ни слова.

Но после, когда кашель утих и к старухе пришла Нинка, старуха сразу отозвалась ей. Подняв руку, она стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от этого приятного прикосновения к родному детскому телу душевным теплом — будто гладили ее. Она даже закрыла глаза — как в минуты особенного удовольствия.

Нинка вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто.

— Пошто так? — очнулась старуха.

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила. Вот и обещалкина.

— Дак ты ей скажи, чтоб купила.

— Ага. Я ее боюсь. Ты сама скажи.

— Че ее бояться? Она, подимте, не зверь, не укусит.

— Не укусит, а все равно. Она как посмотрит, так я сразу боюсь. Пускай она не смотрит, я не буду бояться.

— Не присбирывай, че не следно.

— Давай я ее позову, а ты ей скажешь,— добивалась Нинка.

— Не надо. Куды тебе ишо конфетки? Ты и так, однако что, вчерась весь рот спалила, с утра до вечера сосала.

Нинка обиженно дернулась, вырвалась от старухи.

— Ты сама ее боишься,— поддразнила она.— Если бы не боялась, сказала бы. Бояка ты, больше никто.

Старуха хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, только чуть дрогнули без всякого выражения губы.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала, когда появилась Люся. Открыла глаза — Люся стоит, смотрит на нее, что-то в ней ищет. Встретившись взглядом с матерью, спросила:

— Как ты себя, мама, чувствуешь?

— Дак ниче,— сказала старуха. Она не знала, что отвечать; ей казалось, что она уже вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь и немочь.

— Лучше, чем вчера? — допытывалась Люся.

— Ты, Люся, помирись с Михаилом,— вдруг попросила старуха.— Помирись. Не надо вам меж собой ругаться. Это я виноватая:

накинулась на его. А он не стерпел, его обида взяла. Он тепери сам переживает.

— Его, видите ли, обида взяла, а меня нет,— хмыкнула Люся.— Очень интересно. Он наговорил всем нам гадостей, а я теперь должна за это перед ним извиняться. Что ты выдумываешь, мама? И пожалуйста, не защищай его, мне сейчас совсем не хочется обсуждать этот вопрос. У меня тоже есть чувства, которые я уважаю и хочу, чтобы их уважали и другие.

Старуха растерялась.

— Я об ем ниче не говорю,— стала объяснять она.— Я его не оправдываю — не. Он один человек, ты другой. А че тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать — и твоя и его. Мне охота, чтоб вы ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит.

— Не надоело тебе об этом, мама? Уже почти здоровый, нормальный человек, даже ходишь, а все о том же. Неужели больше ни о чем нельзя говорить?

Опять принесло Нинку — совсем некстати.

— Иди погуляй, погуляй покуда,— стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя.— Иди, потом придешь, я тебя ждать буду.

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто,— упираясь, выпалила Нинка и скосила глаза на Люсю.

Старухе ничего не оставалось делать, как спросить:

— Пошто так?

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила, обманула.

— Это еще что такое?! — удивилась Люся.— Ты почему со мной так разговариваешь?

— Я не с тобой разговариваю, я с бабой, и ты не подслушивай.

— А кто это, интересно, тебе дал право называть меня на «ты»? Я тебе подружка, что ли? Ты разве не знаешь, что старших надо называть на «вы»? Никто тебе не объяснил?

— Покайся,— шепнула Нинке старуха.

— Ага,— сказала Нинка и захлюпала носом, готовясь зареветь.

— Не вздумай только плакать,— опередила ее Люся.— Никто в твои слезы не поверит. Какая, оказывается, невоспитанная девочка. Я не люблю невоспитанных. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Смотрите-ка, до чего уж дошло.

— Она боле не будет,— осторожно сказала старуха.

— Подожди, мама. Вот так вы ее и воспитали: боле не будет, и все. А почему она так поступает — пусть ответит. Она вам скоро еще не то покажет — вот увидите.— Люся повернулась к Нинке.— Если они тебе очень нужны, я, конечно, куплю конфет,— сказала

она,— но только это будет уже не подарок, а вымогательство. Ты знаешь, что такое вымогательство?

Нинка торопливо кивнула, она своего добилась: купит.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти люблю.

Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца.

Опять старуха забылась, растерялась сама с собой, а когда очнулась, полкомнаты было залито солнцем. Она стала следить за ним, боясь и хотя, чтобы оно скорей подобралось к кровати. Ей казалось, что сегодня в этот день, в который она не имела права заступать, ей может открыться то, чего не знают при жизни; старуха во все глаза смотрела на солнце на полу, на его широкое горящее пятно, надеясь увидеть в нем рисунок или услышать голос, которые бы ей что-то разъяснили. Пока ничего не было, но солнце все ближе и ближе подступало к старухе, наползая на кровать справа, где оно выпрямлялось в окне. В его молчаливом пронзительном свете чудилась с трудом сдерживаемая веселая тугая сила, и старухе вдруг пришло в голову, что солнце может растопить ее, как какую-нибудь рыхлую, прикрытую тряпьем снежную фигуру. Она пригреется от него, приласкается, а сама, не замечая того, начнет все убывать, убывать и убывать, пока не исчезнет совсем. Придут люди, а в кровати никого нет. Они решат, что она опять полезла на улицу. Старуха так и подумала: «люди», не делая разницы для своих и чужих.

Солнце наконец поднялось в кровать, и старуха подставила под него руку, набирая тепло для всего тела. Ей показалось, что вместе с теплом в нее натекает слабость, но старуху она не испугала: слабость была мягкой, приятной. Старухе только не хотелось бы уснуть, пускай все происходит на памяти.

Где-то неподалеку заговорила с кем-то Варвара, и старухе вдруг пало на ум еще одно, что она совсем забыла. Выдавливая из себя голос, старуха позвала Варвару, но никто ей не ответил: голос был слишком тихим и ушел недалеко. Старуха крикнула еще, на этот раз сильнее. Варвара услыхала, пришла.

— Че тебе, матушка?

— Сядь.— Старуха глазами показала на кровать возле себя. Варвара села.

— Че, матушка?

— Погоди.— Старуха собралась со словами.— Помру я...

— Не говори так, матушка.

— Помру я,— повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.

— Че надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ниче не умеют. Одна надежда на тебя. Я тебя научу как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут.— Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты,— остановила ее старуха.— Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара немножко утихнет, и начала снова:

— Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Ты, лебедушка моя, родима матушка,— сквозь рыдания повторила за ней Варвара.

— Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?

— Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?

Старуха села в кровати и, успокаивая, обняла Варвару за плечи. Голос ее стал настойчивей, сильней.

Во котору дальнюю сторонушку?
По дороженьке проежжей,
По дубравушке зеленой,
К матушке божей церквы,
Ко звону колокольному,
Ко читаньицу духовному,
А из матушки божжей церкве
В матушку сырую землю,
Ко своему роду-племеню.

День продолжался и продолжался солнечно, тепло, свободно, в воздухе стоял тот особый, с горчинкой зной, который бывает в начале ясной осени. Небо, по-прежнему синее, светло-синее сверху, только у самого края за рекой, где вечером заходить солнцу, чуть подернулось дымчатой, безобидной с виду пленкой, выше и левее, выплывая в небо, висела одинокая прозрачная тучка, слишком игрушечная, чтобы вызывать тревогу, словно нарочно выпущен-

ная, чтобы ею можно было любоваться. Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, заливаемая солнцем, легко и послушно лежала земля.

Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну за другой папиросы. К нему подсел Илья, поинтересовался:

— Не опохмелялся сегодня?

Михаил покачал головой.

— А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?

— Слыхал.

— Плясать скоро будет — ага. Вот и возьми ее.— Он засмеялся и предложил:— Может, выпьем помаленьку. Тут рядом, далеко ходить не надо.

— Нет,— отказался Михаил.— Хватит. Почудили вчера, и хватит.

— Да, ты вчера здорово перебрал. Набрасываться стал на всех на нас. С матерью ругался.

— Я с ней не ругался.

— Она-то на тебя здорово рассердилась — ага. Особенно за Таньчору. Готова была отлупить тебя. Это точно.—Он опять засмеялся и вдруг спросил:— Слушай, а когда это ты отбил Таньчоре телеграмму, чтоб не приезжала? Я же с тобой все эти дни был, никуда от тебя. Когда ты успел?

Михаил щелчком стрельнул от себя окурок, к которому кинулись курицы, и посмотрел брату в глаза.

— А я не отбивал ей никакой телеграммы,— сказал он.

— Как не отбивал?

— Вот так.

— Ты же говорил, что отбивал? Вчера из-за этого весь сыр-бор и разгорелся. Не помнишь, что ли?

— Почему не помню? Помню. А если бы не говорил, ты знаешь, что бы с матерью было? Лучше уже обмануть, чтоб она не ждала.

— Но... Но где же тогда Таньчора?

— Откуда я знаю?

— Вот это да! Вот это фокус так фокус!

— Ты только не выдавай им меня, пусть думают, что отбивал,— торопливо сказал Михаил, потому что от ворот к ним шла Люся. Он опустил голову: сейчас начнется. Припомнит вчерашнее и позавчерашнее, все, что было и не было. Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать ее выговоры тошно — ну их! И без того хоть сбегай куда-нибудь.

— Илья!— начала Люся еще на ходу. Вид у нее был решитель-

ный и взволнованный, будто что-то случилось. Она сказала совсем не то, чего боялся Михаил.— Илья, ты знаешь, что сегодня пароход? Скоро уж. А следующий будет только через три дня.

Илья растерянно поднялся:

— И что нам теперь делать?

— Смотри сам. А мне надо ехать. Мне больше оставаться здесь никак нельзя.

— Ехать надо,— кивнул Илья и посмотрел на Михаила.— Мать вроде поправилась.

— Подождали бы,— несмело сказал Михаил.

Ему никто не ответил.

Они вошли в избу все вместе и в старухиной комнате вдруг застыли. Их не заметили. Варвара, склонясь над матерью, почти упав ей на грудь, всхлипывала, а старуха с закрытыми глазами тянула на себя какой-то жуткий, заунывный мотив. Лицо при этом у нее было высветленным, почти торжественным. Они прислушались и различили слова — ласковые, безнадежные и в то же время как бы вывернутые наизнанку слова, имеющие обратный и единственный смысл:

Отходила ты у нас полы дубовые,
Отсидела лавочки брусчатые,
Отсмотрела окошечки стекольчаты,
Ты, лебедушка моя, родима матушка.

— Что это у вас тут происходит? — громко и насмешливо спросила Люся.— Что за концерт?

Варвара и старуха враз смолкли. Варвара вскочила, показала на мать:

— Вот, матушка...

— Видим, что не батюшка,— хохотнул Илья.

— Помру я,— жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же. Ты думаешь, нам это приятно? Всему должна быть мера. Ты ни о чем больше не можешь говорить. Тебе еще жить да жить, а ты все что-то выдумываешь. Так же нельзя.

— До ста лет, мать, чтоб обязательно — ага,— подхватил Илья.

Старуха, уставившись куда-то в стену, молчала.

— Ты же сама понимаешь, мама, что ты почти полностью выздоровела. Ну и живи, радуйся жизни. Будь как все и не хорони себя без смерти. Ты живой, нормальный человек — вот им и будь.— Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала:— А нам сегодня надо ехать. Так получается, мама.

— Да вы че это? — вскрикнула Варвара.

Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама,— мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась.— Сегодня пароход. А следующий будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем.

— Не, не,— простонала старуха.

— Нельзя седни от матушки уезжать, нельзя,— волновалась Варвара.— Вы прямо как неродные. Сами подумайте. Нельзя.

— Еще хоть день-то подождали бы,— поддержал ее Михаил.

— Мы ведь, мама, не вольные люди: что хочу, то и делаю,— не отвечая им, говорила матери Люся.— Мы на работе. Я бы с удовольствием прожила здесь хоть неделю, но тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на нас. Так надо.

Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

— Помру я, помру. От увидите. Седни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ниче боле не надо. Люся! И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.

— Опять ты, мама, о том же. Мы тебе о жизни, ты нам о смерти. Не умрешь ты и не говори, пожалуйста, об этом. Ты у нас будешь жить еще очень долго. Я рада была повидать тебя, но теперь надо ехать. А летом мы опять приедем. Обязательно приедем, обещаем тебе. И тогда уж не наспех, как сейчас, а надолго.

— Что летом!— вмешался Илья.— Не летом, а раньше увидимся. Мать вот как следует на ноги встанет, и можно к нам в гости приехать. Приезжай, мать. В цирк сходим. Я рядом с цирком живу. Клоуны там. Обхохочешься.

— Одним днем раньше, одним позже,— пытался понять Михаил.— Какая разница.

Люся вспылила:

— Я не собираюсь обсуждать с тобой этот вопрос. Наверное, я лучше знаю, есть разница или нет. Или ты по-прежнему считаешь, что мы должны везти маму с собой и для этого обязаны подождать ее?

— Нет, не считаю.

— И на том спасибо.

Они стали собираться. Сборы были торопливые, неловкие. Старуха больше не плакала, она, казалось, оцепенела, лицо ее было безжизненно и покорно. Ей что-то говорили, она не отвечала. Только глаза забыто, потерянно следили за суматохой.

Прибежала Надя, хотела на прощанье накрыть на стол, но ее удержали. Всем было не до еды. Илья шепнул Михаилу:

— Может, на дороженьку выпьем? Посошок — ага.

— Нет,— отказался Михаил.— Не хочу.

Варвара все-таки не забыла, вслух сказала Люсе:

— А платье-то?

— Что?

— Платье, которое ты здесь шила. Ты говорила, что отдашь.

Люся достала из сумки уже уложенное платье, брезгливо кинула его Варваре в руки.

В самый последний момент Варвара вдруг заявила:

— Я, однако, тоже поеду. Раз все, то и я. Вместе-то веселей.

— Варвара! — чуть слышно простонала старуха.

— Я, матушка, боюсь, как бы там ребяты без меня избу не спалили. Их одних оставлять никак нельзя. Того и гляди, че-нибудь натворят.

— Езжай,— махнул рукой Михаил.— Езжайте все.

Стали прощаться. Люся чмокнула мать в щеку. Илья пожал ей руку. Варвара заплакала.

— Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.

— Мать у нас молодец.

— Я, матушка, скоро приеду. Может, на той неделе.

Михаил пошел их проводить. Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза.

Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба.— Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие,— жалея старуху, сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли в усмешке.

Потом вернулся Михаил и подсел к ней на кровать.

— Ничего, мать,— после долгого молчания сказал он и вздохнул.— Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, дурак. Ой, какой я дурак,— простонал он и поднялся.— Лежи, мать, лежи и ни о чем не думай. Не сердись на меня сильно. Дурак я.

Старуха слушала не отвечая и уже не знала, могла она ответить или нет. Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались. До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла.

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окно фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезло, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты,— ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина едет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии,— отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится и в свой час придет рассвет и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как

неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет в стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он,— говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он,— повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, даст или не даст.

В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя что сказать на прощание, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить,— автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словами, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв,— говорит он.— Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом

со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин: он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади,

наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут обнявшись от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит,— настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся,

как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел.

Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча,— подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги,— задумчиво произнес Кузьма.— Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю,— покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет?— спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель,

и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то?— спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда!— цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше,— придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор.— Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней...— Он замялся.— Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

— Чего же не понять,— откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки,— сказал ревизор.— Ну, осудят ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей,— сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе,— сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго.

Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтоб отец сказал это словами.

— А как же!— ответил Кузьма.— Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию,— ответил председатель.— Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай,— потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу,— сказал председатель.— Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать.— У дверей Кузьма вспомнил:— Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду,— сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь?— спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма!— задыхаясь, шептала она.— Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой!— исступленно шептала она.— Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он наконец вырвался.

— Дура баба,— прохрипел он.— Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — Ее голос становился все слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока. Из хозяйства продавать больше нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на

крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звонком прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет!— кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить,— возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка.— Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте,— беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка.— Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, как без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут»,— почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле— лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города,— говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон,— будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощание бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил, унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверное, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма,— встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь.— Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, теперь восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, дер-

жит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой — она у него тоже учительница,— зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся:

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич.— Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо,— отказался Кузьма.— Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол.— Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать,— замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет,— покачал головой Кузьма.— Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот поднесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая,— сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут,— сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне́-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич.— Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет.— Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше сам себе, чем ему.— Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают,— махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что же делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь сказал Евгений Николаевич.— Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно,— вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет.— Он опять поморщился.— Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе,— говорил Евгений Николаевич.— Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю,

чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам,— сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он наконец вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уже прибежала.— Он готов был выбросить Комариху за дверь.— Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони,— затараторила Комариха.— Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь.— Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать.— Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога,— вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать,— не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо.— Видно, Комариха собрала карты.— Сними-ка, девка. Нет, погоди, тебе снимать нельзя. Надо, чтоб был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты беда!

— Да давай сниму,— сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха.— Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про бога вспоминают, и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха,— устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то,— заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и

не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма,— произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда,— позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу,— всхлипывала она.— Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому,— со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от

чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но, перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады,— зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир...— она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет:— Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом...

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — Полковник недовольно качает головой и даже цокает языком.— Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы все шутите,— с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери.— Мне, правда, больше его некуда девать, все занято.— Уходя, она уже и сама пытается шутить: — Но он с билетом...

— Заходи, заходи,— кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там,— полковник показывает наверх.— Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила,— подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке.— Рядом с нами, в девятом, тоже трое.

— Ну-у,— понимающе отвечает ему человек в белой майке.— К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции.— Человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению,— сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю...— Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмот-

рел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди.— Полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку.— Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там.— Полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу,— насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-страдовались? — Человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались,— отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший,— говорит полковник.— Так что деревня живет.

— А она всегда живет,— с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович.— Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни,— заглядывая в окно, возражает человек в белой майке.— Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а в деревне в это время делать почти нечего,— почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже,— говорит Геннадий Иванович.— Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре-пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит,— особенно если наблюдается улучшение,— лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего.— Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой.— Но не станете же вы отрицать, что деревня

у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный»,— думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим,— говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются,— отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает.— Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание, а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания,— не сразу сдается Геннадий Иванович.— Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник.— Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму:— Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет,— подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака» — ага, играю,— простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти

за своим товарищем,— говорит полковник человеку в белой майке.

Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит.— Геннадий Иванович смотрит на часы. — Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении.— Он протягивает ей деньги.— Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно,— привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость.

«Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, на-

зывают какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается.— Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста.— Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше,— говорит преферансист.

— Мне все равно,— безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно,— повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно,— радуется человек в белой майке.— Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить,— говорит он Кузьме.— Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья,— оборачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров,— отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока

Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинскими. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно,— нет, надо терять день, а то и два.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищи-

те продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней не удобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут не такие головы летели, куда уж мне,— отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария.— И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть,— повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласи-

лась. Через неделю магазин открыла, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнить ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но нетрудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было необязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, идут когда попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась, тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть,— доказывал он, обращаясь к председателю,— скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить что хочет? Чего она из себя

корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему,— чтобы только отвязаться, сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезли в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну.

Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза буду глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже

толклась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех, только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее,— с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз,

уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая,— так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно,— говорит он.— Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка.— Он выбрасывает одну руку влево.— Это бабушка.— Вторая рука опускается вправо.— А это я.— Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха.— Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь,— говорит она Кузьме.— Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень.— Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было,— осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся! Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха.— Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он.— Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь,— неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты, когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул,— с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик,— говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель.— Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум,— говорит председатель.— Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария,— испуганно шепчет он,— посмотри: народ-то не наш, чужой».— «Да ты что? — отвечает она.— Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель.— Есть предложение помочь Марии. — Снова звучат аплодисменты. — Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель,— и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный,— шепчет она.— В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек,— кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек,— подсчитывает председатель за трибуной,— на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата,— округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария,— уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель.— В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей,— наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все,— советуют ему.

— Нет, так нельзя,— не соглашается он.— Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но, чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нету! Нету ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами.

Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа,— доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов.— Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили,— отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно,— согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу

возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог и побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед.— Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столь грамотный, сколь хитрый — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо было куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится.

И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед,— отмахнулся Кузьма.— Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь,— сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него.— Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него для себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно,— примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколь раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: по́мочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на по́мочь. А теперь все за деньги. Огород спашет —

десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края,— очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем!— обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня.— Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколь. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни.— Дед коротко хохотнул, как кашлянул.— У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед.— Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни

выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— «Найдем»,— передразнил его дед.— У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ниче такого и не говорю.

— Ну и ладно.— Кузьма оживился, поверил в свои слова сам.— Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма,— прищурился в улыбке дед. Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе,— закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет и поможет.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы,

сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решалась, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду,— пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не

приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери,— тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает,— уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма придет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он,— помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов, каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал

каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду,— он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотня, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнил брата, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень, постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку,— позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось,— не отвечая, сказал Василий.— Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету,— со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так,— отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт,— невесело пошутил Кузьма.— Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры.

Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида.— Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!
— Ага, а твои не бесстыжие?
— Иди отседова.
Галька, подмигнув мужикам, ушла.
— Измаялась я с ней,— стала жаловаться Степанида.— Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!
— Ага, была там у тебя кровь,— отозвалась Галька.— У тебя там помои, а не кровь.
— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. А как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.
— Делать вам нечего, вот и грызетесь,— сказал Василий.— Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?
Степанида растерянно прищурилась.
— Ну и хитрый ты, Василий!
— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.
— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.
— Это правильно.
Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.
— Она, она,— заверила Степанида.
— Вот с этого бы и начинала,— повеселел Василий,— а то связалась со своей Галькой.
— Не поминай мне про ее.
Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.
— О деньгах сразу не заговаривай,— предупредил Василий.— Обождем, когда готова будет.
— Да ты сам и скажешь.
Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.
— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!
— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий.— Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.
— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?
— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему.— Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко.— Снова перевела взгляд на Василия:— Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть,— сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам,— стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять,— успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана.

В точно рассчитанный момент, когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед:

— Ну, скажите мне, что она не вредитель! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ёй-ёй. И за что меня господь бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во,— поддакнула Степанида.— Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией,— спокойно сказала она.— Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида.— Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли че ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена,— не смог остановиться сразу Василий.— Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он,— она показала на Василия,— не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали,— отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она.— Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет,— приподнялся Василий.— Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю,— стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит?

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас.— Степанида заторопилась, допила.— Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим,— сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной,— сказал он.— Тебе, Галька, наливать?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила, и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам,— сказал Кузьма.— Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся.— Голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет.— Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму.— Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется,— безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее:

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется.— Степаниде сказал: Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра-послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим,— сказал Кузьма.— Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго,— продолжал Василий.— Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли че ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде.— Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачивать надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий,— попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тетку Марию жалко,— причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степани-

да нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь,— сказал Василий.— Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет!— закричала опять Галька.— Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида.— Не заплачу. Хошь сейчас выметайся. Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий,— сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

— Завтра я зайду,— сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его

смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа,— негромко зовет она.— Проснись, Сережа.

— Я не сплю,— отзывается старик.— Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о.— Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана.— Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме,— несердито отвечает старуха.— Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил,— говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить.—

Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака.— Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Все так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор, и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться набок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Сережа, чай,— говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тож стаканчик выпью,— говорит он.

— Обязательно надо выпить,— отвечает старуха.— Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет

он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха.— И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай.— Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову.— Почти в норме,— радостно сообщает он.— Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия,— замечает старик.— Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо,— серьезно отвечает парень.— Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начинается, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха.— Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни,— говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь,— с сомнением говорит старуха.

— Я — другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата,— не то сердится, не то удивляется старуха.— Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один! Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень.— Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой,— говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень.— Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит»,— передразнивает его старуха.— Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет.— Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно,— просто говорит старуха.— Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил,— говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма...— хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень.— Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому,— возражает Кузьма.— Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе,— говорит старуха и смотрит на старика.— Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже.— Старуха говорит спокойно и тихо.— Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха.— Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься.— Тут вот...— и протянул Кузьме деньги.— Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды...

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять.

Кузьма взял.

— Ты не думай,— обрадовался дед.— Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка

Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье. В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось,— говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него.

Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены,— сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е.— Глаза у тетки Натальи слабо блеснули.— Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали,— буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом,— поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала,— виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую сторону. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья

уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать:

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья,— зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет в кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее

судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, заглянул в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую.

Спросил, не отрываясь от бумаг.

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот,— пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Несладко было смотреть, как падает зерно,— после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет.

На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли,— будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья: посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец от начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело.— Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом.— Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь.— Председатель повернул голову к другой стене: — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.

Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать,— твердо повторил председатель.— Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра

надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен,— недобрым голосом сказал председатель.— Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен,— торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью.— Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся.— Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам.— Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами.— Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве...

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Поозглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку,сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От этих слов у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год,— пригрозил председатель.

— Может, у нее, правда, не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее

так, без пользы, лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех.— Председатель усмехнулся.— Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это давно запримечено.

— А ведь и правда,— удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу,— сказал Кузьма.— Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма,— отмахнулся председатель.— Что теперь об этом говорить?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то решил бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму.— Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручи-

тельство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так,— словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул.— Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало...— Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил:— Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так, давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против

несчастья. Твоя беда — это знаешь что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно,— засмеялся Кузьма.— Смотри, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич.— Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь.— Евгений Николаевич осмотрелся.— Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста невестой,

нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получалась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе.

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои,— шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим,— говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип.— Отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все непросто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком несладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма.— Найдет когонибудь.

— Пускай попробует,— зашевелился парень.— Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно. И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю,— осторожно говорит Кузьма.— Это тебе самому надо решать...

— Ну да. Я знаю, что самому.— Парень от волнения по-детски шмыгает носом.— Черт ее знает...— Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает:— А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет — так нет, на ней белый свет не сошелся.— Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем не торопясь идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету,— у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически

переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы,— вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться, и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма.— Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало.

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй,— с вызовом ответил бухгалтер.— Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась.— Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время.— Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма наконец понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал.

Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только трешками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были трешки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что

двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты...— без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было, и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не может просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме

непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее.

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали.— Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться.— У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти.

Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал беспокоиться, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги. Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте,— робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй,— ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма,— быстро заговорила девочка.— Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма.— Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу,— попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось: он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели на кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьме, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу...

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно.— Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед.— Ну и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь осталось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло — он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он падает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть.

Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят в окна и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

ПОВЕСТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Валентин Распутин вошел в нашу литературу сразу, почти без разбега и как истинный мастер слова, а повторять, что произведения его значительны, что, минуя их, сегодня уже нельзя серьезно рассуждать о нынешней русской и всей советской прозе, нет, очевидно, никакой необходимости.

Хотелось бы заметить в этом общем плане: Распутин еще и еще утверждает старинный русский повествовательный жанр — повесть. И не беда, что мы до сих пор не имеем точного определения — что она такое? Чем отличается она от романа? Имеется она сама — лаконичная, выразительная, художественный жанр, в котором русская литература создала бесценные художественные произведения и, будем надеяться, создаст их и еще.

Но это, повторяю, замечание общее, попутное.

Другое дело — задаться вопросом: чем и как повести Распутина достигли того, чего они достигли?

Как часто мы признаем в литературе хорошее хорошим, но не можем объяснить, почему это так.

Вопрос трудный, а все-таки надо сделать попытку и ответить на него, сделать вывод из самых разных впечатлений, чувств и переживаний, вызванных чтением распутинских повестей, определить нечто главное для себя.

Им, этим главным, оказалась, думается мне, законченность его произведений.

Вот так: дочитываю его повесть, думаю и убеждаюсь в том, что я узнал о ее героях все сполна, все, что должен был о них узнать. Ни капли сомнения, будто бы автор чего-то не сказал о них или сказал не так.

И нет желания чем-то автора дополнить, нет подозрения в каких-то вольных или невольных недомолвках, нет прерывности в линии поведения его героев не только в самой повести, но и далеко за ее пределами, там, куда после встречи они уйдут. Вместе с нами. Пожалуй, они теперь уже навсегда лишены возможности покинуть нас, скрыться из нашего поля зрения и понимания.

Ну, как это бывает, когда мы, закрывая книгу, и вовсе не в укор писателю, во всяком случае, далеко не всегда в укор, думаем: «А дальше-то, дальше — каким вот этот герой станет? Плохим — хорошим? Счастливым — несчастным? Умным — глупым?»

Современный читатель, да и читатель в прошлом тоже, далеко не всегда принимал такую ясность и отчетливость, ему нравится и другое — когда автор оставляет кое-что и на его, читательское, усмотрение.

Распутин этого не делает — не оставляет на наше усмотрение ничего, все решает сам. Тем самым он и достигает законченности своих повестей. Законченности сюжета, мысли, чувства, одним словом, художественной законченности.

А почему это ему удается, что ему в этом помогает?

Прежде всего потому, что речь он ведет о таких вещах, о таких событиях человеческого существования, которым недомолвки и различные вариации попросту несвойственны, не в природе этих событий.

В повестях «Последний срок», «Живи и помни» речь идет о жизни и смерти — или жив человек, или он вот сейчас умрет, а какой-то третий вариант, тем более пятый или десятый, совершенно исключается.

Тут, кажется, по крайней мере по первому впечатлению и переживанию, будто умолкает и сама-то литература с ее бесконечными толками о том, что такое хорошо, а что такое плохо, с ее советами, догадками и наставлениями, с ее «вопросами мастерства»?!

Какое уж тут мастерство, когда на ваших глазах гибнет человек!

Природой предусмотрено так, что решающий факт жизни — рождение человека — навсегда остается для него неизвестным и тайным: никто не только не знает и не помнит своего рождения, никто не знает и своего раннего младенчества, смерть же — это факт сознательный. Во всяком случае, едва ли не каждый взрослый человек, тем более человек преклонного возраста, хоть раз да заглянул в лицо своей смерти, почувствовал ее очевидную близость то ли на войне, то ли на больничной койке, то ли при других каких-то обстоятельствах. И в то время, как рождение человека никто не может приложить к себе, сопоставить его с самим собою, чужая смерть вполне приложима к каждому из нас. Это откровенная тайна.

И вот очень многие писатели, пользуясь этой откровенностью, создавали картины смерти человека. Но лишь очень немногие прослеживали ее так же внимательно и последовательно на протяжении многих-многих страниц, как это сделал Распутин в «Последнем сроке».

«Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят» — так начинается повесть. «Ночью старуха умерла» — так она кончается.

И даже то, что имя собственное — Анна — оказалось утерянным на всем протяжении повести, что оно упоминается только в начале и только в конце повести, тоже обретает свой смысл: смерти нет дела до имени человека.

При всей реальности и пронзительной точности происходящего в повести здесь нет и следа того примитивного натурализма, следуя которому, иной автор не то устрашает читателя, не то завлекает его ужасами, не то уверяет его в своей авторской смелости.

Это редкостный такт, не выученный и даже, кажется, не нажитый долговременным опытом, а врожденный, природный и художественный.

Конечно, это мудрость автора «Последнего срока», и его собственная, и той героини, старухи Анны, которая умирает на наших глазах. Она-то относится к своей смерти именно как к делу своей жизни и по раз и навсегда заведенному порядку хочет сделать его поскорее, сделать сама, никого не тревожа и не затрудняя:

«Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы теперь где-е была, если бы не ваша фельшерица».— И учила Нинку: «Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую».

Вот так же и автор, он тоже как будто говорит: не трогайте меня со всем тем, что когда-нибудь было написано о смерти, — дайте мне сказать об этом самому.

И говорит сам. И говорит так, что будь в повести одна только старуха Анна, а больше — ни одной души, и тогда это уже стало бы истинным художественным произведением. Но в том-то и дело, что вовсе не ради одной только смерти старухи Анны, как бы ни была она изображена, какое бы художественное значение она ни имела сама по себе, написан «Последний срок».

Написано это ради живых, и тут тоже вполне подошло бы название следующей повести Распутина: «Живи и помни».

К старухе матери из разных городов и сел собрались, чтобы проститься с ней, ее взрослые дети — каждый со своим характером, со своей судьбою.

Мать при смерти, вот-вот умрет, и дети перед нею — только дети, родные братья и сестры, и всеми владеет общее чувство потери, чувство долга, по которому они, уже многие годы не встречаясь, оказались все вместе под отчим кровом. И характеры их в общем чувстве как бы сливаются, стираются, для них же самих перестают иметь существенное значение.

Мать воскресает, из мертвого снова становится живым человеком. И дети тотчас снова обретают свои характеры, свои привычки, свои различные взгляды на жизнь.

Наконец мать умирает, но при ней уже не все ее дети — дочери Люся и Варвара и сын Илья уехали к своим собственным делам и заботам. Не дождались. Понадеялись на благополучный исход. Так вот для чего нужна была «Последнему сроку» эта долгая смерть: чтобы до конца высветить каждого из Анниных детей, каждого из живых в окружении умирающей. А перипетии смерти —это перипетии их жизней, их отношений друг к другу.

Распутин создал такую ситуацию, пользуясь которой, он мог бы говорить о своих героях все, что угодно, говорить много, говорить не только о настоящем, но и о прошлом, заглядывать в их будущее, писать роман или сагу в двух, в трех, в десяти книгах.

Но... законченность.

Безупречное соотношение между живым и умирающим. Между на-

стоящим и всем тем прошлым, к которому старуха Анна и дети ее то и дело невольно возвращаются.

Кроме того, что автор умеет говорить, он еще и умеет молчать, и не чрезмерно, а все с тем же чувством такта и меры; используя необыкновенную ситуацию, он вовремя ставит точки над «и» — как над главным событием, так и над каждым своим героем.

Для того чтобы поставить точку над «и», надо иметь «и»,— эта истина проста лишь в отвлеченном суждении, в конкретном же искусстве она вовсе не так часто достигается.

Распутин ее достиг. И вовсе не тем, что его герои однозначны, нет, их законченность — это законченность и завершенность сложности.

Все характеры детей Анны и даже безликость Ильи опять-таки завершены Распутиным целиком, от и до, в их прошлом и будущем, завершены в тот неуловимый момент повествования, когда нам в этих людях уже все ясно, но когда они, эти люди, не успели себя повторить. Повторить еще и, может быть, уже лишний раз.

В повести «Живи и помни» Распутин пошел в том же направлении, кажется мне, еще дальше — здесь он тоже приводит к гибели главную героиню, чудесную и светлую женщину Настену Гуськову. Но если в «Последнем сроке» как бы естественно, вовремя и в свой срок умирает старуха Анна, то гибель Настены не может быть принята иначе, как нечто исключительно трагическое, как грубая и даже непростительная ошибка жизни — умереть-то по всей логике вещей, по всем нашим чувствам, симпатиям и антипатиям должна вовсе не она, а муж ее, Андрей Гуськов.

Дезертируя, по ночам пробираясь после госпиталя в свою деревню Атамановку, Андрей как будто не сомневается: вот он побудет дома, повидает близких, а дальше ему одна дорога — смерть. Он ее заслужил, он ее не боится, он спокойно идет ей навстречу. Он убежден, что, если вернется на фронт, его обязательно там убьют, и вот выбирает между двумя смертями ту, которая обещает ему сначала хоть какой-то покой, хоть какую-то радость.

Но вся эта логика, потому что она предательская, предает не только других, но и его самого. И вообще, это даже и не логика и не мысль, а только обманчивая видимость мысли, только заговор с самим собою против мысли истинной, против человеческого и гражданского достоинства. И, достигнув Атамановки, скрываясь в ее окрестностях, Андрей отчетливо сознает, что все, что он думал, не так и не то: смерти он боится, боится страшно и безудержно, и вовсе не между двумя смертями выбирал он, а бежал от той и от другой, и признавать, что он заслуживает смерти, у него нет сил, а его страх смерти, его слабость — это и есть единственная сила его жизни. Другой у него нет, да и не может больше быть никогда. Но как же, оказывается, может быть сильна слабость и трусость! Как может быть она жестока, если даже гибель жены, матери его неродившегося ребенка, гибель, в которой повинен он сам, не в состоянии заронить в душе Андрея ни чувства раскаяния, ни жалости, ни самоосуждения, ничего, кроме еще более сильного, чем прежде,

звериного желания жить. Если потребуется — убивать еще и еще — отца, мать, односельчан, кого угодно, но существовать.

Не знаю, что это за тема, как ее назвать. Снова тема «жизни и смерти»? Но тема ли это для литературы? Для музыки — да, там этим часто обозначается мажор и минор, их сплетение, переход одного в другое в наиболее сильном и выразительном звучании, для литературы же, да еще реалистической, жизнь и смерть — это не тема, а гораздо нечто большее, это та реальность, из которой в конечном счете проистекают все темы и вся она — литература.

Когда литература касается этого сопоставления — жизни и смерти, — она исполняет свое самое высокое назначение, когда же она еще и справляется с этой задачей, она достигает высшего мастерства. Даже не мастерства — своей проникновенности, своей законченности.

Вот главный смысл и то надсюжетное, философское содержание, которое объединяет обе повести Распутина, сближает их, в одном и том же направлении действует на читателя.

И если заглавие «Живи и помни» можно перенести на «Последний срок», то равным образом нетрудно сделать и наоборот: «Живи и помни» назвать «Последним сроком», и читатель воспримет это как должное, и будет иметь к этому все основания: ведь жизнь Настены Гуськовой после того, как близ Атамановки появляется Андрей, вполне можно назвать последним сроком. Да и жизнь Андрея тоже. Они очень разные, эти сроки, они противостоят друг другу, и единственно, что у них общего, это то, что они последние. Должно быть, это главное определило и дальнейшее сходство двух повестей.

В «Живи и помни» Распутин тоже не останавливается на создании лишь основных образов, хотя и тут они вполне могли бы держать все повествование, а герои второстепенные играли бы тогда лишь роль антуража, не более того.

Но в том-то и дело, что трагедия Настены — это не только личная, но и глубоко общественная, социальная трагедия, поскольку к ней не остается безучастным ни один житель Атамановки, поскольку все они, эти жители, становятся как бы одним, тоже главным действующим лицом повести.

Это лицо сурово и непреклонно. Люди идут на любые жертвы ради победы в справедливой, освободительной войне. И, значит, они не могут в то же время не видеть в дезертире своего врага, не могут терпеть его существования рядом со своим. И то, что дезертир из их же среды, из их деревни, еще усиливает чувство ненависти к нему.

Это война в ее апогее, это и война на войне, и в голодной сибирской деревушке о двадцати с небольшим домах, и война в душе каждого, везде и всюду.

И поэтому старик Гуськов, отец Андрея, догадываясь о том, что сын его где-то здесь, рядом, и тот жесток и непреклонен по отношению к нему, и кто его знает, что произошло бы, если бы отец и сын встретились лицом к лицу где-нибудь в тайге? Может быть, тихо, деловито, со страшной болью

в сердце и со слезами на глазах, без какого бы то ни было романтического ореола, но Гуськов-отец повторил бы поступок Тараса Бульбы? Чтобы очистить свою совесть? И совесть всего селения Атамановки? И совесть народа, которому он принадлежит? Совесть ожесточенную, но — совесть.

«Последний срок» — повесть в значительной мере тоже военная, потому что именно война определила и до сих пор определяет и судьбы, и сознание всей семьи старухи Анны.

Попробуем на минуту представить, что война этой семьи ничуть не коснулась. Не повлияла на судьбы ее членов. Не сказалась на их мышлении. Если бы это было так, мы, конечно же, увидели бы перед собою совсем других людей.

И нет ничего удивительного ни в том, что писатель уловил эту связь военного с послевоенным, ни в том, что он сделал это лишь спустя многие годы после того, как война кончилась.

В этом — своя логика.

Война была делом всех. Быть может, ничто другое не было в такой же степени делом всех, как война. Но вот она становится делом прошлого и теперь осмысливается уже не всеми сразу, а каждым в отдельности, и не только как дело всех, а еще и как дело каждого. Она конкретизируется в той или иной личности, в личном опыте и мышлении, в той памяти, которой во время войны у человека еще не было, но которая неизбежно возникает после того, как событие миновало, память же всегда избирательна и не хронологична.

Так, вероятно, и должно быть: война велась всеми еще и ради каждого, ради личного движения в будущее и личной жизни.

И повести Валентина Распутина — это обращение гуманного писателя к гуманному читателю и обществу. Только гуманному обществу есть дело до отдельной личности, до ее переживаний, до ее судьбы.

Герои Распутина живут как будто бы только сами по себе, думают ограниченно, не касаясь проблем общечеловеческих, а в то же самое время они очень, они как бы даже исключительно общечеловечны.

Однако в «Прощании с Матёрой» Распутину уже и этого недостаточно, и вот он говорит:

«Что должен чувствовать человек, ради которого жили поколения?..»

Снова очень просто, снова житейски, но и обобщенно речь уже идет о человеке вообще. А это другое дело, когда общечеловеческое органически вписывается в конкретность героев и выражает их сегодняшнее состояние, а в литературном смысле оно вписывается и в тот сюжет, которым движется вся вещь. Здесь это общечеловеческое приходит к нам через мысль о прошлом — очень мало мы думаем о преемственности, о тех людях, которые жили когда-то ради нас, если же и вспоминаем о них, их чувствуем, так тогда только, когда они уходят от нас снова и снова.

Уходят не физически, нет, такой уход уже совершен ими давно, но вот они в который раз лишают нас своего участия в нашей жизни, своей при-

частности к нам, того жизненного уклада, который был ими когда-то сформирован, и даже той природы и земли, которую они нам завещали.

Конечно, по науке говоря, это мы уходим от них, а не они от нас, они-то постоянны, а переменны мы, и весь-то мир стоит на переменах, но то по науке. А это еще не все, не все чувства и ощущения.

В «Последнем сроке» от нас вот так ушла старуха Анна, в «Прощании с Матёрой» — Матёра, остров на реке Ангаре.

Такова жизнь — она приобретает, но ее не бывает и без потерь, никак не менее истинных, чем новые приобретения.

И когда писатель говорит об этих потерях — это вовсе не пессимизм, отнюдь нет, тут должен быть другой критерий: ведь писатель говорит о том, что уходит навсегда, но говорит для тех, кто живет сегодня и кто будет жить завтра, для нынешней и будущей человеческой души — для ее обогащения. Потому что душевное богатство всегда дается и настоящим, и прошлым, и будущим — надеждой на будущее, а чем-нибудь только одним не дается никогда.

И вместе с этим сказывается и удивительное свойство искусства, литературы прежде всего: говоря о потерях — о смерти, о драме и трагедии жизни, — она способна учинить праздник чувства. То есть драма может быть выражена литературой так, что это выражение будет красивым, а красота будет нас пленять, мы будем испытывать в ней очевидную необходимость.

Нет, в жизни все-таки не то... В жизни, когда в ней происходит драма, особенно когда она касается нас непосредственно, красивое слово, стиль, слог, оригинальная ассоциация иной раз становятся кощунственными.

И происходит это, наверное, потому, что литература не факт, а постфактум, она всегда не событие, а послесобытие, касается ли дело веков или дней, и благодаря этому литература из сознания становится осознанием.

Проходит время, и нам уже не остается ничего другого, как отчетливо осознать, что нет жизни с одними только приобретениями, что потери в ней так же неизбежны.

Отчет этот не только рассудочный, но и эмоциональный, отчет чувства и переживания.

Мы ведь понимаем, что старое разрушается во имя нового и что автор тонко улавливает эту диалектику смены одного времени другим, а призывает он к тому, о чем во все времена заботилась литература: к сбережению человеческой души. Ей, душе, эта смена времен дается иной раз так трудно, так мучительно!

В этом гуманизм повести «Прощание с Матёрой».

И вот уже потеря может как-то восполниться, стать не только самой собою, но и опытом нашего существования, существования прежде всего духовного.

Вот и потеря Матёры, как ее видит писатель,— тоже опыт, тоже необходимое нам разумение.

Нет, это не консерватизм — осмысливание и осознание своего прош-

лого, прошлых потерь и приобретений, консерватизмом скорее можно назвать нежелание такого осмысливания. Конечно, жить одним лишь прошлым нельзя, наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но и настоящее без прошлого тоже не настоящее, а только его суррогат.

Кто мы — нынешний советский народ, — если из нашей памяти вычеркнуть Октябрьскую революцию или Великую Отечественную войну? Без них мы уже не мы, а неизвестно кто.

И вот Распутин осознает это «мы», осознает проникновенно.

Когда-то ведь были объяснения всему на свете, было хорошо известно, откуда взялся мир, откуда — люди, о душах умерших человек тоже знал, что они не спускают с него глаз, витая где-то в небесах. Была и обратная связь — при некотором воображении живой мог через эти небесные души пообщаться с мертвыми...

Время наивных и неосознанных представлений ушло, но не ушла необходимость в самих представлениях, и кто-то ведь должен создавать новую историю души? Искусство должно!

Валентин Распутин достиг той художественности, которая позволяет и даже обязывает его заниматься этим всерьез, это ему дано — такая вот высокая духовность дана ему.

И хотя рано еще, наверное, говорить в какой-то последовательности, которой придерживается Валентин Распутин в своей работе, все-таки, думается мне, не напиши он старуху Анну в «Последнем сроке», не было бы и старухи Дарьи в «Прощании с Матёрой», да и самой Матёры тоже.

Не было бы этого, вероятно, самого значительного достижения современного Распутина, в котором он показал себя так широко, в котором существуют и учат существованию нас, читателей, не только отдельные люди, не только семьи, но и нечто значительно большее — то, что они, вместе взятые, составляют те проблемы переустройства жизни, которые создают действительные рубежи между прошлым и настоящим, заставляют нас, будучи современными, быть еще и историчными.

Это всегда необходимо — умная и разборчивая память прошлого всегда современна и своевременна.

В ранней повести Распутина «Деньги для Марии» уже было начало этого очень серьезного пути. Уже там писатель создал ситуацию очень простую, конкретно-житейскую, а в то же время такую, которая позволяла ему привлечь сколько угодно и каких угодно персонажей, если так можно сказать, обеспечивала неограниченный простор: у продавщицы сельского магазина по неумению и доброте ее возникла недостача, и муж ее, тракторист Кузьма, обращается к людям за деньгами в долг. А разные люди относятся к этим просьбам по-разному, и каждый в своем отношении к чужой беде совершенно конкретен и опять-таки закончен.

Вот эта конкретность и достоверность, действительная необходимость каждой детали, уже тогда представили нам такого писателя, который вправе показывать нам нашу жизнь.

Но дальше дело пошло еще счастливее: писатель этот с каждой новой

повестью достигал не только все большей остроты зрения, но и все большего художественного осознания жизни.

Будем же верить в этого писателя.

А теперь остается сказать несколько слов о языке.

Само собой разумеется, что, не будь у Распутина его языка, не было бы и его, нынешнего писателя. Да, язык у него свой, неповторимый, а в то же время глубоко национальный, русский. И существует он опять-таки не сам по себе, и не приписан к тому или иному герою, чтобы всякий раз создать некую индивидуальность, нет, дело обстоит наоборот: язык его героев — это они сами, это язык всей той жизни, о которой ведает нам писатель, самого его существа.

Впрочем, говорить отвлеченно о литературном языке нет смысла — его надо читать. Его нужно переживать вместе со всем тем, что мы понимаем под переживанием истинно художественного произведения.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин Григорьевич
Распутин

ПОВЕСТИ

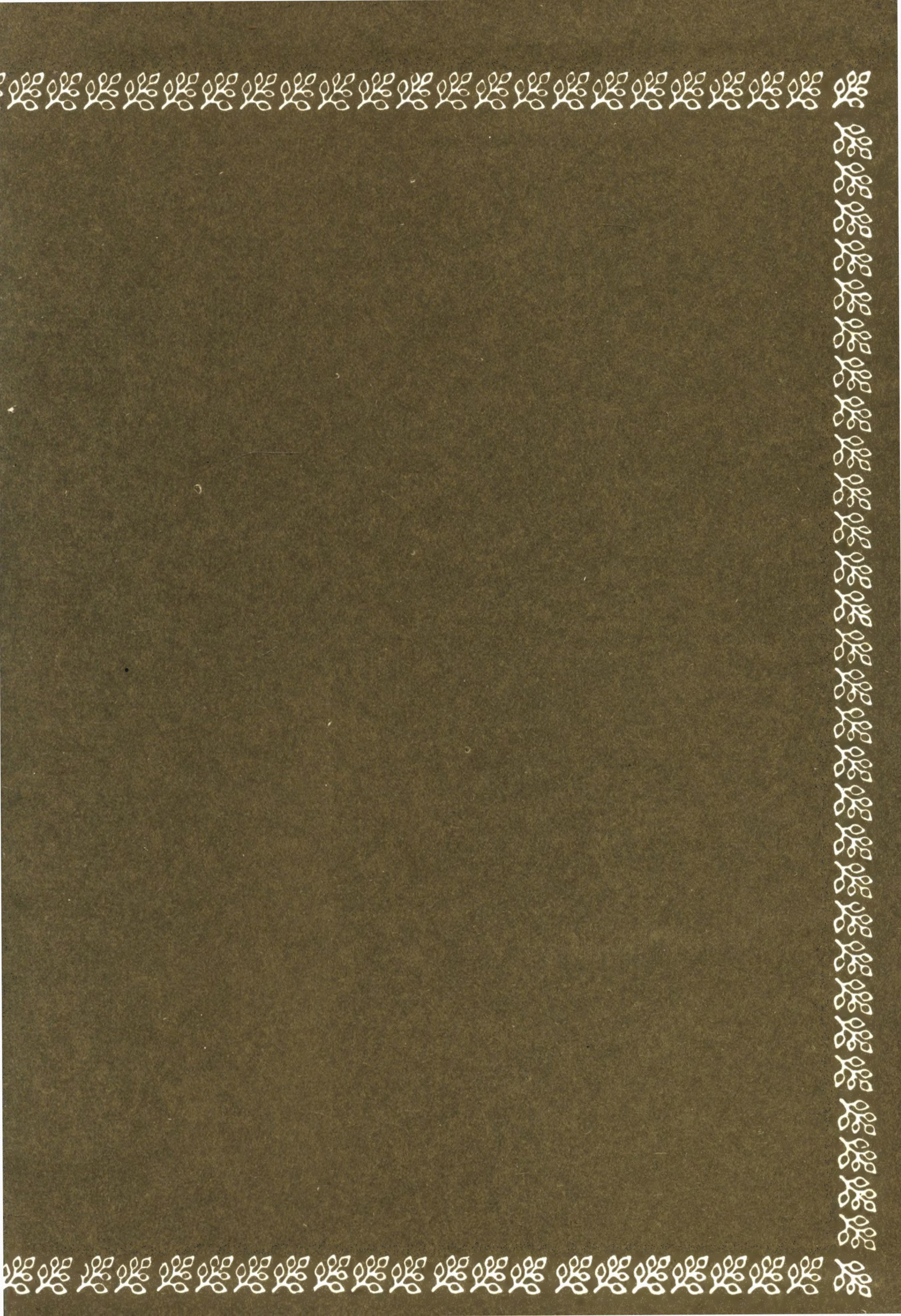
Редактор *З. С. Колодина.*
Худож. редактор *В. З. Вешапури*
Техн. редактор *Г. В. Стачева*
Корректор *В. В. Карякин*

ИБ № 1409

Сдано в набор 27.11.84. Подписано к печати 22.03.85.
Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$. Бумага книжно-журнальная офсетная.
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 26,21. Усл. кр.-отт. 23,37.
Тираж 100000 экз. Заказ № 5092. Цена 1 р. 90 к.

Волго-Вятское книжное издательство, 603019, г. Горький, Кремль, 4-й корпус.

Типография издательства «Горьковская правда»,
603006, г. Горький, ГСП-123, ул. Фигнер, 32.



1р. 90к.

Волго-Вятское книжное издательство

В. Распутин